



ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ ОСКОЛКА

18+

АЛЕКСАНДР КОЛЮЧИЙ

Александр (Колючий)

**Зона Отчуждения:
Пробуждение Осколка**

«Автор»

2026

(Колючий) А. Л.

Зона Отчуждения: Пробуждение Осколка / А. Л. (Колючий) —
«Автор», 2026

Реактор, питавший целый регион, взорвался, разорвав ткань реальности. Внутри образовавшейся Зоны бродят трёхголовые твари, оживают аномалии, а воздух отравлен мутировавшим эфиридом. Юрий Воронцов — опальный аристократ, сосланный на каторгу и ставший простым инженером смены, — оказывается в эпицентре катастрофы. Выжив под завалами, он обнаруживает в себе дар поглощать аномалии, но сила не подчиняется воле и открывается лишь на грани смерти. Теперь ему нужно вывести горстку уцелевших каторжников из руин Реактора, укрепить первый форпост и понять, чей голос звучит в его голове — союзник или новое проклятие. Но Зона не прощает слабости. За каждую крупицу силы придётся платить кровью, а за право жить — сражаться не только с тварями, но и с людьми, которые придут за тем же: водой, укрытием и властью над разломом.

© (Колючий) А. Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тишина после грохота	5
Глава 2. Разлом над головой	11
Глава 3. Бег по багровому полю	17
Глава 4. Костёр в бочке	23
Глава 5. Обвал	29
Глава 6. Маслянистая вода	35
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Александр (Колючий)

Зона Отчуждения: Пробуждение Осколка

Глава 1. Тишина после грохота

Роба висела в шкафчике второй год и никогда не просыхала до конца. Я продел руки в рукава, застегнул три крючка из пяти — верхние оторвались ещё зимой вместе с тканью — и провёл ладонью по нашивке на груди. «К-231». Нитки на двойке разлохматились, и цифра читалась как единица. Мне было всё равно, а вот конвою нет: на прошлой неделе Хромой у ворот водил ногтем по нашивке и сверял со списком.

Там же лежал планшет с журналом показаний. Фанера по краю расслоилась, я подтянул зажим, чтобы ветер не рвал бумагу. Ключи лежали в сером мешке, и у трёх рукоятки треснули вдоль — я их когда-то обмотал проволокой, но она давно разболталась. Нового не выдавали давно, а требовать было не у кого.

— Юр. Юра. — Тимофей сидел на лавке, стянув один сапог, и заглядывал в него. — Гвоздь вылез. Второй раз за месяц. Ты мне его тогда чем загибал?

— Плоскогубцами.

— Плоскогубцами. — Он потряс сапогом. — А теперь у меня их нет, потому что Сивый взял и говорит — не брал. Ты представь. При мне же брал. Я говорю: при мне брал. Он: докажи. — Тимофей поставил сапог на пол, подумал и снова его поднял. — Слушай, а у вас на седьмом чай кипятят?

— Кипятят.

— Вот. А у нас титан второй месяц. Заявка лежит. — Он натянул сапог на ногу и при-топнул. — Всё равно вылез.

Я взял мешок с ключами под левую руку, планшет — под правую.

— Дай гвоздь загну, — сказал я.

— Да ну, иди. Ты и так на полсмены раньше всех бегаешь, чего тебе.

За перегородкой двое спорили о деньгах — не о жалованье, а о каких-то тридцати копейках с прошлой получки, и один всё повторял: «Я тебе на бумажке напишу, хочешь, на бумажке». Я вышел.

От раздевалок до контура номер семь идти минут восемь по галерее вдоль стены. Бетонный периметр стоял слева, девять метров высотой и мокрый снизу, и вдоль него всегда тянуло сквозняком. Посёлок за спиной уже дымил трубами. В Затомье к семи утра пахло горелым жиром из столовой, и запах доходил сюда.

Контур номер семь — двенадцать манометров на нитке трубопровода, три из них в приемке, куда надо спускаться по скобам. Я начал с дальних, открыл журнал и послюнил огрызок карандаша. Огрызок был короткий, держать его приходилось щепотью.

Первый — в норме, второй тоже в норме. Третий полторы недели показывал на четверть выше остальных, и я записал его так, как записывал всегда, с пометкой «сравн.». Четвёртый, пятый. У пятого стекло было в трещинах от угла, и эту трещину я знал наизусть.

Спустился в приемок, здесь гудело сильнее, и гул шёл не сверху, а из-под ног, из нижних цехов. Я прижал планшет к колену и списал два циферблата.

Средний клапан стоял в углу приемка, за коленом трубы. Я обошёл трубу, поднял глаза на циферблат и замер.

Стрелка дрожала — мелко, влево-вправо, но не ровно, а с перебоями: подрожит, встанет, подрожит. Я смотрел на неё, наверное, полминуты, считал про себя. То на седьмой раз заминка, то на девятый — ни разу не совпало.

Постучал по стеклу костяшкой пальца. Стрелка замерла и снова задрожала.

Тогда я и почувствовал привкус в воздухе — сладковатый, чуть жирный, он оседал на языке, если открыть рот. Осенью на четвёртом такое было двое суток, потом подтянули фланец — и всё прошло. И в мае было, здесь же, ниже по нитке, я тогда сам записывал.

Достал из мешка ключ на девятнадцать, тот, у которого рукоятка перевязана проволокой, приложил к гайке на штуцере, но нажимать не стал. Металл был тёплый — теплее, чем труба на локоть выше. Я убрал ключ.

Записал в журнале: «ср. клап., 6:52, стрелка кол., амплит. Малая, период неровн., прив. В возд. Тепл. Штуцер». Подчеркнул «неровн.» дважды. Грифель сломался, я обкусил дерево зубами и писал дальше.

В левой руке у меня оказалась гайка на тринадцать — достал из кармана и не помнил когда. Носил её месяца три, так что грани уже сгладились, и теперь крутил её большим и указательным пальцами.

Доложить надо было сменному мастеру. Мастер утром сидел в конторке над лестницей, пил чай и подписывал, что ему подсовывали, а на любую бумагу с контуров говорил одно: «В журнал внёс? Внёс. Дальше по инстанции». Дальше по инстанции — это в Департамент, а оттуда бумаги возвращались через месяц с резолюцией о переносе срока.

Сунул гайку в карман, закрыл планшет и полез по скобам вверх. Скобы были в масле, и ладонь я вытирал о бедро через каждые три скобы. На верхней площадке пахло горелой изоляцией и мокрым бетоном.

На повороте лестницы стоял мужик из третьей смены, тот, у которого фамилия на «щ». Он держал ведро, а в ведре плавала тряпка.

— Воронцов. Ты ж по контурам ходишь.

— Иду вверх.

— Ты погоди. — Он поставил ведро на ступеньку, и вода в нём качнулась. — У меня пускатель на второй помпе не держит. Отпускает и снова садится. Я его и продул, и почистил.

— Пружина.

— Какая пружина, я тебе говорю, я его чистил. — Он поднял тряпку, посмотрел на неё и уронил обратно. — Вот сапоги. Вторые за зиму. Гляди, где лопнули — по сгибу. Их шьют на кого?

— Пружину проверь. У возвратной пружины хвост садится в паз, а паз разбит — вот она хвостом и гуляет.

— Я мастеру третий раз про сапоги. Он говорит: в журнал внёс. Я говорю — я не в журнал хочу, я хочу сапоги.

Я стоял и крутил гайку в кармане. Мне надо было вверх, а он стоял у перил, и с планшетом и мешком мимо него было не пролезть.

— Пружина, — сказал я ещё раз. — На возвратной. Хвост.

— Дай ключ на семнадцать до обеда.

— Ключ на девятнадцать.

— На семнадцать нету?

— Нету.

— Ну и ладно. — Он взялся за ведро, но не поднял. — А ты чего с приямка? Там опять течёт?

— Стрелка дрожит на среднем.

— Стрелки все дрожат, — сказал он. — У меня манометр на помпе год как дрожит, я его гвоздём подпёр.

Тут пол вздрогнул.

Не качнулся, а вздрогнул — коротко, как лист железа, если ударить по нему снизу. Вода в ведре хлопнула через край и потекла по ступеньке вниз. Лампы погасли. Погасли все сразу,

по всей галерее, и стало не темно, а серо — от окон под крышей. Потом загорелись опять, вполсилы, жёлтым, и накал в них подрагивал.

— О, — сказал мужик. — Опять на подстанции мудрят.

Я слышал гул — низкий, ниже, чем гудят трансформаторы, и шёл он не сверху и не снизу, а из стены. Я приложил к бетону ладонь: бетон подрагивал ровно, без перебоев.

— Слышишь?

— Чего там слышу. — Он тряс сапогом, стряхивал воду. — Вот, залил. Насквозь же.

Я пошёл, а он что-то говорил мне в спину про ключ и про то, что до обеда вернёт.

Галерея над первым контуром шла вдоль стены, и в стене на уровне лица было смотровое стекло — толстое, в свинцовой обойме, с четырьмя барашками по углам. Стекло всегда было мутное изнутри, и через него видно было плохо: серый корпус контура, скобы, кабельные проходки.

Я посмотрел и не сразу понял, на что смотрю.

По корпусу шли трещины — светящиеся. Металл рвётся коротко и криво, а эти ветвились, как лёд на луже, если стукнуть каблуком. Свет в них был белый, без синевы. Пока я смотрел, добавилось ещё две трещины.

А воздух над ними гнулся, и скобы за этим воздухом стояли не там, где стояли, и не прямые. Так дрожит марево над раскалённым металлом, только это стояло на месте.

Я не отходил, считал. Трещин стало четыре, потом столько, что я сбился со счёта, и полез за карандашом записать время. Карандаш был в правой руке, гайка в левой, и я не помнил, когда её опять достал.

Шесть пятьдесят восемь. Или пятьдесят девять.

«Это разрыв», — подумал я. И тут же: нет, не разрыв, разрыв идёт с хлопком и падением давления, а давление я снимал десять минут назад, и по манометру всё было в норме, кроме дрожи.

Завыла сирена. Аварийная, с площадки над конторкой: она начинала низко, лезла вверх, на самом верху срывалась и заходила заново.

Я успел подумать про мастера — что он сейчас поставит чашку.

Стена передо мной взорвалась белым.

Не вспышка за стеклом — сама стена, и бетон, и обойма, и свинец. Звука не стало вовсе: ни сирены, ни гула, ни воды на ступеньках.

Я всё ещё стоял, и ладонь была на бетоне, а бетона под ладонью уже не было. Потом стало темно. Сколько — не знаю.

Первым пришёл свет. Он резал, как сварка без щитка. Я закрыл глаза, полежал, открыл снова — пятна остались. В ушах стоял звон.

Во рту было железо и пыль. Пыль хрустела на зубах, я сплюнул, и слюна вышла серая. Железо не ушло, оно шло откуда-то из носа.

Правая нога не двигалась. Я подумал, что затекла, но полежал и понял, что нет: ниже колена её просто не было, а выше было тепло и тесно. Я приподнял голову. На ноге лежал кусок панели, с торчащими из среза прутьями, и лежал не плашмя, а углом, и угол ушёл в щебень рядом с сапогом.

«Придавило», — подумал я и стал думать, чем.

Панель перекрытия, значит, перекрытие. А оно было высоко, метрах в семи. Я стал считать, сколько таких панелей над первым контуром, дошёл до девяти и сбился.

Дёрнул ногу вверх. Панель даже не шевельнулась, а в колене хрустнуло, и я перестал и полежал.

Потом вывернулся на бок — всем телом, разом. Локоть проехал по арматурине, и рукав сразу намок. Я упёрся ладонью, толкнулся и рванул. Нога вышла. Сапог остался.

Я сел и увидел, что сапог стоит под панелью, целый.

Достать его я не смог: влез двумя пальцами и вытащил одну только портянку. Босую ногу поставил прямо на щебень.

Встал я со второй попытки. С первой попытки ноги разъехались, я сел обратно на щебень, и в спину что-то вошло, и я сидел и думал про сапог: если его сплющило, то и голенище сплющило, а я его подшивал в марте. Потом взялся за балку. Балка стояла косо, нижним концом в бетоне, а верхним уходила в темноту. Я налёг на неё и поднялся.

Цеха не было.

То есть он был — я стоял в нём. Но не осталось ни линии трансформаторов, ни стены со смотровым стеклом, и пол шёл под уклон и кончался чернотой. Там, где была стена, встала наклонная гора обломков, и из неё торчали кабельные жилы, распушённые на концах.

Свет мигал ровно, через два счёта. Я поворачивал голову, искал лампу и не нашёл: светилося будто само по себе, из воздуха.

Гайки в руке не было. Я обшарил карман, потом землю у ног, потом опять карман. Карандаш нашёлся, сломанный в двух местах.

Сквозь звон пробился звук. Не крик — так гудит труба, когда воздушную пробку в ней продавливает водой: длинно, на одной ноте, с хрипом на конце. Я повернулся не туда, постоял, повернулся ещё.

Разгребать пришлось руками. Инструмента не было, лом я оставил у конторки, а конторки не было. Щебень шёл легко, куски покрупнее откатывал боком. Ладони содрал сразу, но почти не чувствовал их, а только видел, что на бетоне остаётся мокрое.

Скоро показался кровельный лист, гнутый, и из-под него торчала нога в сапоге. Сапог был. Я взялся за край и поднял. Лист оказался нетяжёлый.

Кулик, Прохор — сменный, турбинный, я его знал по журналу и по курилке.

Он лежал на боку. Из бока, чуть выше ремня, торчал обломок трубы — дюймовой, с рваным срезом. Обломок не сверху лёг, он вошёл. Роба вокруг была тёмная и блестя.

— Иди, — сказал он. — Иди отсюда.

— Лежи.

— Я говорю, иди. — Он повёл рукой к трубе и не донёс руку. — Кто на турбине?

Я рванул полу робы. Она не пошла, я рванул с шва и вырвал лоскут в локоть длиной. Скрутил жгутом, обвёл вокруг трубы, прижал сверху ладонью и налёг. Трубу я не тронул.

Он охнул и повторил:

— Кто на турбине-то?

— Не знаю.

— У меня смена в семь. — Он полежал. — Ты чего давишь.

— Кровь идёт.

— Она идёт, а ты давишь. — Он помолчал. — Холодно мне.

Под ладонью было горячо и мокро, мокрое лезло между пальцами. Я перехватил и налёг сильнее. Второй рукой упёрся в его плечо, чтобы он не заваливался назад.

— Сумка тут была, — сказал Кулик. — С хлебом. Не видел?

— Не видел.

— Серая. С лямкой. — Он облизнул губы. — Я её на перила вешал.

Перил не было. Я сказал, что посмотрю, и не посмотрел.

Поднимать его пришлось из-под балки. Балка легла одним концом на кладку, другим на кожух насоса, и Кулик лежал в этом клину, где места было всего на локоть. Я подобрал под него руку, взял за ремень с той стороны, где ремень был целый, и тут вспомнил про карман.

Отпустив ремень, я хлопнул себя по бедру, потом залез в карман — там был карандаш, огрызок, две половинки — и уже под самым швом нащупал круглое. Печатка. Я подержал её двумя пальцами и вынул руку.

Балка за это время осела. Не упала, а просела: кладка под ней просыпалась струйкой, и клин стал меньше. Кулик замычал, а я лёг на бок, вбил плечо под балку и потащил его на себя рывками, по вершку. Железо давило в плечо сверху вниз. Вытащил, и мы оба легли на щебень.

— Ты чего, — сказал он. — Ты чего меня рвёшь.

— Всё.

Встать я не смог: пол был не пол, а куски плиты, поставленные торцами. Нога ушла между ними и подвернулась, я пошёл вниз лбом и попал в то же место, которым приложился раньше. В глазах побелело, и я постоял на колене, а потом нашёл торчащий из щебня обломок трубы, взялся и поднялся на нём, как на палке.

Кулика я взял на плечо. Он был короткий и тяжёлый и совсем не помогал, только держал бок обеими руками, один раз перехватил меня за воротник.

Из сушилки был выход на коридор к насосной. Я ходил по нему два года, и в темноте, когда свет садился, тоже: до первого поворота двадцать два шага, потом направо.

Я прошёл двадцать два и ещё восемь, а направо была кладка — не завал, а стена, ровная, с расшитым швом.

Я потрогал её ладонью и пошёл обратно.

Второй поворот, на дренаж, тоже кончился. Там был угол, и в углу бетон, сырой и целый, и я в него упёрся коленом.

— Третий, — сказал я вслух.

— Что, — сказал Кулик мне в спину.

— Ничего.

Третий вывел: коридор шёл, и в конце его серело.

На середине коридора лопнула труба, дюймовая, та же линия, что торчала у Кулика из бока. Вода из неё шла вверх.

Не била — тянулась тонкой ровной струёй от разрыва к потолку, и вверх, под самой плитой, было мигающее пятно, и струя уходила в него и там кончалась. Под трубой было сухо.

Я отшатнулся так, что Кулик съехал с плеча, и подхватил его под мышки, а потом обошёл это место вдоль стены, сделав шагов десять лишних.

— Пить, — сказал Кулик.

— Нет.

— Там же вода.

— Там нет воды.

Он полежал у меня на плече и сказал:

— Трещина была.

— Где.

— В воздухе. — Он говорил рывками, между ними ждал. — Я на щите стоял. Смотрю — трещина. Чёрная. В воздухе, слышь, не в стекле. Я такого... — Он потерял, чего он такого не видел. — Смена в семь.

— Ты говорил.

— Я и говорю.

Тут завывло.

Далеко, за стенами, за тем, что от стен осталось, — протяжно, в несколько голосов, и голоса шли не в лад: один вёл, другие подтягивали ниже и выше. А потом оборвалось всё разом.

На Реакторе воет много чего. Воет вентиляция, когда закрывают заслонку. Воют подшипники на сухую, воет предупредительная на пуске. Но это было не то.

Я постоял, послушал и сказал:

— Свищёв! Старший смотритель! Свищёв, у нас на нижнем дво...

И замолчал, потому что никого там не было.

Кулик у меня на плече пошевелился.

— Он верхний шлюз заперёт, — сказал он. — Он всегда запирает.

— Молчи.

— Я не жалуюсь. Я говорю, как есть.

Дальше я его тащил и считал. Светло — значит день. Наверху смена сдаётся в семь, стало быть, до сумерек часов шесть, если день такой, как все дни. Шесть часов, чтобы найти дыру наружу и людей, каких найду. В темноте я тут не найду ничего.

Стену цеха разорвало снизу вверх, пролом был высотой в три моих роста, и свет в нём стоял багровый и ровный, без солнца.

Кулик облизнул губы и попросил поставить его на ноги.

Я не поставил, и тут завывало снова, ближе.

Глава 2. Разлом над головой

Пролом был снизу шире, чем сверху, и в нём лежала наклонная плита, а на плите щебень. По щебню я не пошёл — сунул было босую ногу, поехал и чуть не повёз Кулика вниз вместе с собой. Тогда я взял вдоль, боком, держась за арматурный прут, торчавший из среза. Прут был тёплый. Я подумал было, от чего он тёплый, — и не додумал, потому что Кулик стал сползать с плеча, и я его подтянул.

Наверху я его положил — вернее, руки разошлись сами, и он лёг на щебень.

— Ты чего, — сказал он. — Ты меня прямо на камень.

— Полежи.

Свет резал глаза. Я зажмурился и стал считать до десяти, а открыл глаза уже на восьми. Пятна от старой вспышки ещё стояли, но сквозь них было видно, и я стал искать, откуда светит. Небо было ровное и красное, как вода в ведре, в котором прополоскали кисть после сурика. Ни солнца, ни пятна поярче, ни просвета — и облаков не было тоже. Я поднял руку и повёл ею над щебнем. Тень легла слабая и расползлась во все стороны, ни в одну сильнее. Я повёл рукой ещё раз, чтобы проверить, и вышло то же.

Так свет не идёт. Свет всегда идёт откуда-то.

Я задрал голову и поискал разлом — щель, прореху, хоть шов. Никакого разлома над головой не было. Красное стояло целое и светило всё разом, каждым своим местом.

Я опустил руку и вытер ладонь о штанину.

— Пить, — сказал Кулик.

— Нет.

— Ты сказал, там нет воды. А тут?

— Тут не смотрел.

Я встал и огляделся кругом.

Земля перед цехом была вся в воронках. Не в ямах от разрыва — воронки шли круглые, с чистым краем, будто кусок вынули ложкой из застывшего жира. Я начал считать и на шестнадцати сбился: дальние сливались с обломками. Да и считать было незачем.

Ограждение стояло слева, там, где я его знал по обходам. Половины секций не было. У остальных прутья обвисли, и на концах набухли и застыли капли — такие я видел на поддоне у сварщиков, только там они с ноготь, а тут с кулак.

И трава. Она пожелтела кольцами, ровными, как циркулем на кальке. Такие круги я сам чертил в техникуме. В середине каждого кольца была точка. Ни камень и ни железо — я стоял шагах в десяти и не разобрал, а ближе не пошёл. Трава внутри кольца стояла зелёная, и за кольцом тоже зелёная. Жёлтое шло только по самому обводу, шириной в ладонь.

Я постоял и решил, что разбираться с этим буду потом. Да и записать было нечем: карандаш сломался в двух местах, а планшет остался неизвестно где.

— Сумка серая, — сказал Кулик снизу. — С лямкой. Ты глянь тут, а? Тут светло.

— Тут её нет.

— Она на перилах висела.

— Перил нет.

— Ну ты глянь, — сказал он и замолчал, а потом: — Свищёв верхний шлюз заперёт.

Я сел на щебень и взял портянку. Она была сырая с одного конца и грязная, и я стал обматывать ногу с носка, как обматывал две зимы. Пальцы не слушались, конец выворачивался из-под пятки. Со второго раза вышло криво, я стянул всё и начал заново, и на третий затянул и подоткнул под подъём. Встал, притопнул — держало. Босым по щебню я бы и сотни шагов не прошёл.

Теперь надо было понять, куда идти. По периметру я ходил два года и знал: если бетонная стена справа, значит, идёшь на раздевалки, а если слева — на седьмой контур. Стены теперь не было, были куски, и стояли они вкривь: два пролёта завалились внутрь, третий держался, но развернулся углом, и по нему выходило, что стена шла совсем в другую сторону.

Тогда я стал искать глазами подстанцию. Ориентир она была верный: четыре мачты и решётчатая рама, видно её с любого места на нижнем дворе. Мачт я не нашёл. На том месте лежала гряда щебня, и железо из неё торчало дугами, и по этим дугам я не узнал ничего.

Оставались трубы Затомья. Посёлок стоял за периметром, столовая труба дымила с шести утра, и по ней я привык брать направление в темноте. Я поглядел в ту сторону. Неба над посёлком было столько же, сколько везде, — ровного, без дыма.

Трубы я увидел, все три, но дым не шёл ни из одной.

Я смотрел на них, наверное, долго, потому что Кулик успел сказать про смену в семь и про то, что на турбине сейчас никого.

— Стой, — сказал я вслух, себе.

Трубы стояли не там. Раньше я находил их правее водокачки. Водокачки не было, и трубы стояли правее ограждения, хотя должны были стоять левее. Я даже прикрыл один глаз и поводил головой, будто это могло что-то поправить.

Значит, или сдвинулись трубы, или сдвинулся я, или у меня в голове сдвинулось. Третье было вероятнее всего: часа два назад я приложился лбом в одно и то же место дважды.

На трубы я и пошёл, но, пройдя шагов двадцать, встал: впереди была воронка с чистым краем, а обходить её я не хотел ни справа, ни слева. Повернул на завал у ограждения и опять встал: под ногами пошёл жёлтый обвод, и я шагнул на него, не глядя. Потом отступил на два шага и посмотрел на подошву — сапог был цел.

Тогда я перестал ходить и стал думать, куда идти.

Обслуживающий корпус — двухэтажный, кирпич по бетону, с подвалом на всю площадь. Я его видел на старых схемах, когда искал, откуда на седьмой контур идёт линия — стены там несущие, шестьдесят сантиметров, и он один такой в радиусе, а всё остальное здесь — лёгкие цеха и обшивка по каркасу. Если что и стоит, то только он. И в подвале была вода — пожарный запас, врезка, я помнил врезку на схеме.

Он был за нижним двором, если считать от седьмого контура прямо, а прямо-то и не выходило. Но труба у него на крыше короткая и толстая, вытяжная, и её я мог бы узнать.

Кулика я поднял — под мышки, потом на плечо, и в своём плече, в том, которым я подбивал балку, что-то повернулось.

— Куда, — сказал он.

— На корпус.

— Какой корпус.

— Обслуживающий.

Он помолчал.

— А туда с нижнего двора нельзя, — сказал он. — Там лужа стоит круглый год. По колено.

— Дойдём — посмотрим.

— Ты сумку глянь по дороге. Серая.

По щебню я пошёл между двумя воронками и стал считать шаги, но на сто девяностом сбился и дальше не считал.

Плита лежала косо — одним концом на кирпичной тумбе, другим ушла в щебень, и под ней была тень, узкая, в шаг шириной. Я занёс Кулика в тень, присел и спустил его с плеча на бок, как он лежал раньше. Он охнул и поехал лицом вниз, и я подставил руку.

— Лежи так.

— Я так и лежу.

Повязки под робой было не видно, и я стал отгибать полу. Полы уже не было — я её отодрал там, в цехе, — и отгибать пришлось то, что осталось от кармана. Лоскут, который я закручивал жгутом, был весь тёмный и мокрый, и ниже, на ремне, тоже было мокро, и ремень блестел. Я тронул пальцем — палец был красный.

Значит, насквозь. Значит, вязать второй раз.

Со штанины над босой ногой я оторвал полосу — с шва она не пошла, я надкусил ткань зубами и рванул, и вышло криво, шире у одного края, — и сложил её вдвое. Обломок трубы у него из бока я опять не тронул: обломок сидел, и пока он сидел, дырка была под него, а не в стороне. Я обвёл полосу вокруг, подложил свёрнутый вчетверо кусок портянки прямо под трубу, чтобы прижимало по краю, мимо железа, и потянул.

— Ты чего.

— Туже надо.

— Ты дышать дай.

— Дышишь.

Я упёрся коленом и подтянул ещё. Узел завязал, как вязал на шланге, в два оборота с закладкой, чтобы не поехал. Под ладонью после этого стало просто тепло.

И вот тут я увидел, что у меня руки трясутся. Мелко. С холода они ходят целиком, от плеча, а эти дрожали в пальцах, и большой палец сам собой подбирался к указательному, будто крутил что-то. Я сжал кулак, подержал и разжал, но дрожь осталась. А холодно мне не было. Красное над двором не менялось, и от плиты сверху тянуло теплом. Крови я потерял с локтя, но локоть — это локоть, с локтя столько не теряют. Голову я приложил два раза в одно место. Или просто набегался — тоже может быть.

Я перебрал это всё по второму разу и на локте застрял: рукав был мокрый до кисти, и я не помнил, когда он успел так намокнуть. Потом вспомнил, что не помню и как гайку выронил.

— Юр, — сказал Кулик. — Ты сумку так и не глядел.

— Не глядел.

— Серая. С лямкой. Там хлеб и яйцо.

— Хорошо.

— Что хорошо-то.

Я выгреб щебень из портянки. Он набивался с каждым шагом, мелкий, и особенно под пяткой, так что портянку я разматывал уже третий раз и третий раз наматывал её так же плохо.

За плитой сыпануло.

Не осело, как оседает кладка, — прошло по щебню и стало, потом прошло ещё, короче: кто-то ставил ногу и переносил вес.

Арматурина торчала из бетона в полушаге, гнутая, конец раскрошился. Я взялся и потянул на себя — она вышла с хрустом, длиной мне по грудь, и в руке была тяжёлая, книзу. Я поднялся на одно колено и держал её обеими руками, у бедра, острым концом вперёд, потому что размахнуться под плитой было негде.

Из-за плиты вышел человек и вскинул на меня пистолет.

Он стоял в двух шагах. Лица я не разобрал, только руки: правая с пистолетом, и пистолет в ней ходил, левая с фонарём. Фонарь был битый — стекло выпало, отражатель смят внутрь и висел на одной заклёпке.

— Стой! — сказал он. — Стой, тварь, стой!

И тут же:

— Свищёв? Ты?

— Воронцов, — сказал я. — Седьмой контур.

Он не опустил пистолет, а смотрел мне в лицо, и смотрел долго — я провёл рукой по щеке, и на ладони осталась мокрая грязь.

— Воронцов, — сказал я ещё раз. Вытянул из-под робы жетон и повернул к нему цифрами: — Двести четырнадцать.

Пистолет пошёл вниз: он опустил его к бедру, а потом сунул в кобуру — расстёгнутую и пустую, — и застёгивал её не с первого раза.

Я поставил арматуру концом в щебень и тяжело оперся на неё.

— Бортников, — сказал он. — Степан. Охрана смены.

— Знаю. Ты у ворот стоял.

— У ворот Хромой стоит. Я на нижнем.

Он сел, где стоял, на бетонный обломок, и стал крутить в руках фонарь, у которого внутри цокал отражатель.

— Патронов нет, — сказал он. — Ты не думай, что я так. Патроны в сейфе, а сейф в диспетчерской. Их к разводу выдают, а развод в семь.

— В семь смена, — сказал Кулик из-под плиты.

— Кто это?

— Кулик. Турбинный.

Бортников нагнулся, посмотрел на Кулика и на трубу у него в боку, потом отвернулся и опять взялся за фонарь.

— Диспетчерской нету, — сказал он. — Я оттуда шёл. Я стоял под стеной, у самой, и стена пошла. Не сверху, а понизу ушла, и верх уже лёг за ней. Девять метров, ты понимаешь? Она легла наружу.

— Наружу.

— Наружу. Внутрь бы меня и накрыло. — Он подёргал отражатель, тот подался. — Мне его сдавать. Он за мной по описи, тридцать восьмой номер.

— Людей видел?

Он помолчал.

— Не видел, — сказал он. — Никого. Я до вас никого живого не видел.

— Тогда пойдёшь с нами, — сказал я.

— Куда?

— Куда скажешь. Ты тут ходишь, я нет.

Он подумал, повесил фонарь на плечо, поправил ремень и сказал:

— Обслуживающий корпус. Он низкий, кирпич толстый, его так не свалит. Там душевые, там вода в бачках. И телефон.

— Телефон.

— Ну телефон. — Он повёл плечом под ремнём. — Может, и телефон.

Кулик под нами замычал, и я увидел, что у него из-под лоскута опять пошло. Первый лоскут набрал крови и уже не держал. Я оторвал от полы второй, с того же шва, и он вышел кривой, шире у одного края.

Руки у меня начали трястись, когда я подводил конец под спину. Не с холода: пальцы слушались, а кисть уходила вниз сама. Я завёл концы, стянул, и узел разъехался. Второй раз тоже разъехался. Тогда я взял конец в зубы, придержал, перехватил пальцами ниже и завязал заново, и на третий раз узел сел.

И уже потом я подумал, что Бортников держал пистолет на мне долго, а я стоял и молчал, вместо того чтобы сразу назваться. Секунды три так и стоял. Будь патроны в стволе, он бы выстрелил, а после отписал бы: каторжник, номер такой-то, вышел на меня из темноты. И разбирать никто не стал бы.

— Ты давишь опять, — сказал Кулик.

— Держи сам, если можешь.

Он положил ладонь и держал сам. Губы у него шевелились, беззвучно, будто он с кем-то договаривал.

Красное над нами не потемнело ни на волос. Я посчитал: с семи прошло часа полтора, значит, до темноты далеко. Потом понял, что считаю не то. Солнца в этом свете не было, а тень от плиты за час не сдвинулась вовсе — считать было не по чему. Я взял на глаз: свет был как в пятом часу зимой. Пусть будет три.

Двор за проломом двором уже не был. Плиты стояли торцами, между ними валялись кабельные катушки, и одна размоталась и завалила проход. Бортников шёл первым, Кулик висел у меня на плече, я держал арматуру в свободной руке и ставил её перед собой на каждом втором шаге.

— Тут была разметка, — сказал Бортников. — Белая. По ней машины шли. Я стоял вот тут примерно и говорил водителям, куда встать.

— Иди.

— Я иду. — Он остановился. — Стой.

Впереди была лужа. Обычная, метра в полтора, в выбоине, с масляной радугой по краю. Вода из неё шла вверх.

В коридоре, час назад, так же шла вода из лопнувшей трубы, и я тогда положил это на голову — на то, что приложился лбом. Голова была тут ни при чём.

Поднималась она слоями, косо, будто пыль от метлы. Метрах в трёх над лужей висело пятно света и мигало ровно, через два счёта, как лампа в цехе перед тем, как перегореть. Вода доходила до пятна и кончалась. Под пятном не капало.

— Это чего такое? — сказал Бортников.

— Не подходи.

— Я не подхожу. — Он подошёл на шаг. — Оно втягивает, что ли. Насосом.

— Отойди.

Он нагнулся, поднял с плиты кусок бетона с кулак и стал перекидывать его с ладони на ладонь.

Я вспомнил инструкцию. Одна страница со штампом в углу, её приносили в конторку под роспись, и в ней было про зоны после сбоя резонанса: не приближаться, предметов не вносить, обозначить и доложить. Я тогда расписался, а половины так и не понял, потому что про резонанс нам никто ничего не объяснял.

— Не бросай, — сказал я. — Там инструкция была, туда нельзя ничего...

Камень уже летел. Он вышел у Бортникова из руки раньше, чем я договорил, — брошенный снизу, без размаха, как бросают в собаку.

Камень вошёл в пятно и кончился — ни стука, ни всплеска, ни дыма. Он летел, и его не стало, а пятно мигнуло через два счёта, как мигало до того.

Мы стояли. Бортников вытер руку о штаны, потом вытер ещё раз, уже двумя.

— Я его же бросил, — сказал он.

— Бросил.

— Так он куда же.

— Не знаю. — Я перехватил Кулика выше. — Обходим. Широко. Вот от той катушки и дальше, к железу.

— Я ж только посмотреть.

— Вот и посмотрел. Держись от таких мест подальше.

Мы пошли в обход, шагов двадцать лишних, и Кулик за это время дважды съезжал, и его приходилось подтягивать выше. Далеко за периметром стучали по железу — часто, вразнобой, и кто-то там считал в голос, а слов было не разобрать.

— Лесовозная дорога, — сказал Бортников и поправил ремень фонаря. — Она с той стороны. По ней вывозят.

За грудой искорёженного металла на другом конце двора что-то прошло.

Оно шло на двух, сгорбившись, и голова у него была большая, не по телу. Оно повернулось в нашу сторону и не остановилось: смотрело поверх нас, куда-то на трубу, и ушло за груды.

Я хотел сказать — стойте, но воздух вышел, а звука не вышло. Я стоял с открытым ротом, держал Кулика, и в горле было пусто.

Тогда я поднял руку и надавил Бортникову на плечо. Он обернулся, а я показал двумя пальцами туда, за железо, и он сразу присел.

— Это кто, — сказал он одним воздухом.

— Молчи.

Голос вернулся, но хриплый. Я посмотрел мимо груды, туда, где двор кончался и начинались руины третьего корпуса.

Там шли ещё — один и левее сразу два. Они шли не строем и не вместе, но в одну сторону — на нас.

А между нами и обслуживающим корпусом было пусто: шагов сто пятьдесят щебня и битой плиты, и ничего выше колена.

Глава 3. Бег по багровому полю

Бортников сидел на пятках за грудой железа и смотрел себе под ноги.

— До корпуса не дойдём, — сказал он. — Полтора шагов, и всё голое.

— Знаю.

— А диспетчерская вот. — Он повёл подбородком левее. — Шагов семьдесят, если по прямой.

— Ты сказал, её нет.

— Стен нет, они наружу легли, я ж тебе говорил. А приямок под ней есть. И кладка с северной стороны, в мой рост. Я туда лазил, там сухо.

Я посмотрел туда. Отвал битого кирпича, над ним две балки крест-накрест — больше отсюда ничего и не видно. За отвалом темнело что-то низкое, но что именно — не разобрать.

— И сейф там, — сказал Бортников.

— Что.

— Сейф. Патроны в сейфе. Я тебе говорил, их к разводу выдают. Он у стены стоял, привинчен, четыре болта в пол. Такой никто не унесёт.

— Идём в приямок. Сейф потом.

— Так он же там и есть, в приямке рядом.

— Идём.

Кулик у меня на плече сказал:

— Пить.

— Нет.

— Ты в бачках обещал.

Ничего я не обещал. Я подтянул его выше, и в плече опять повернулось то, что повернулось раньше: будто там что-то стало не на место. Арматуру я взял в левую, потому что правой держал Кулика под колени, и в левой она была не по руке.

Пока я его перекладывал, Бортников шарил глазами по щебню. Он поднял обломок трубы, дюймовой, в полтора локтя, с рваным срезом, и взвесил его в кулаке.

— Пойдёт, — сказал он. — Пистолет-то у меня без толку.

— Иди первым. Смотри под ноги, не на них.

— Я смотрю. — Он пошёл, но потом встал. — Фонарь мне сдавать, тридцать восьмой номер. Если я его в кирпиче брошу, с меня спишут.

— Не бросай.

Мы вышли из-за груды и пошли по открытому. Щебень тут был крупный, плиты стояли торцами, и ногу между ними приходилось ставить боком. Двор под этим светом лежал багровый, и белые сколы на плитах казались розовыми. Я считал шаги и на четырнадцатом сбился, потому что портянка опять поехала под пяткой. Дальше не считал.

За периметром всё бренчали, часто, вразнобой, и голос там считал: не то «шесть», не то «семь». Я подумал, что по дороге ходят и туда надо будет, — а до дороги ещё периметр, и периметра нет.

— Юр, — сказал Кулик. — А сумку мою не видал?

— Не видал.

— Серая такая. Под лавкой стояла.

— Молчи, — сказал Бортников через плечо. — Ты нас голосом-то не выдавай.

— Я не кричу. Я говорю. У меня смена в семь.

Прошли шагов тридцать, и отвал кирпича стал выше. Балки над ним стояли крест-накрест, и под ними чернела дыра, узкая, — кладка, наверное.

И тут за железом, там, откуда мы ушли, один из них развернулся.

Я увидел это краем глаза — движение вбок, широкое, всем корпусом, разом, — и оно заревело.

Рёв шёл сразу из трёх глоток. Не в лад: один вёл низко, утробно, второй дрожал выше, а третий срывался и хрипел.

Оно вышло на щебень целиком — приплюснутое, низкое с телёнка, шло на четырёх, и шло скоро. Голов было три, и посажены они были по шее одна над другой, на разной высоте: нижняя почти в щебень, средняя вперёд, верхняя выше загривка. Пасти были открыты все три. Шерсть шла проплешинами, и в проплешинах было видно сырое, красное — так и росло.

Оно даже не встало посмотреть, а взяло с места.

— Бежим! — крикнул Бортников. — Бежим, бежим!

Он побежал. Труба у него была в правой, фонарь колотился по бедру, и он бежал по плитам, прыгая с торца на торец, и один раз чуть не сел.

Я стоял, потому что считал. Кулик на плече — пудов пять, я его нёс полтора шага и дважды подхватывал по дороге. Портянка садится через каждые двадцать шагов. Нога босая, и на щебне я и без него ставлю ногу боком. Семьдесят шагов бегом с ним у меня не вышло бы, и тридцать бы не вышло. А оно шло на четырёх и взяло с места. Значит, не бежать.

— Ты чего стоишь, — сказал Кулик мне в ухо. — Ты чего.

Я не ответил, а только повернул голову и стал смотреть, куда влезть втроем — так, чтобы открыто было с одной стороны.

Плиты лежали торцами, между ними щели в пядь — туда не влезешь. Кабельная катушка, с которой всё смотали, — тоже нет. Воронка в двенадцати шагах — в неё я не полез бы и один.

Левее, шагах в восьми, плита легла одним углом на бетонную тумбу, и под ней была тень. Туда я полез бы, но под плитой было открыто с двух сторон, а мне надо было с одной.

Я повёл глазами дальше и увидел контейнер.

Лежал он на боку в десяти шагах, за грудой битой плиты, — грузовой, из тех, что ставят на платформы, весь в гофре, и зелёная краска на нём облезла. Одну створку с него сорвало, вторая держалась на нижней петле и стояла косо. Внутри было темно, а стенка у такого — гофрированная сталь, и гофр держит поперёк. Я такие резал в цехе, когда из них делали кладовки.

— Держись, — сказал я Кулику и пошёл.

Бежать я не мог и шёл частыми короткими шагами, ставя босую ногу боком, а арматуру бросил вперёд, как посох, и на неё переваливался. На третьем шаге Кулик поехал с плеча, я подхватил его под колено, и он замычал мне в воротник.

— Степан! — крикнул я. — Сюда! Не в поле!

Шагах в двадцати справа Бортников уходил в открытое, на щебень, где не было ничего выше колена.

— Сюда! — Воздуха не хватало, и крик вышел короткий. — В железо! В контейнер!

Он встал как вкопанный, оглянулся — на меня, потом за меня, туда, откуда шло, — и повернул. Бежал он обратно наискось, труба ходила у него в руке, фонарь бил по бедру. На бегу оглянулся ещё раз и крикнул что-то, из чего я разобрал одно «...ходу».

Последние четыре шага я помню плохо — только то, что сунулся в щель боком, вперёд плечом с Куликом, и кромка створки вошла мне в лопатку. Внутри был железный пол в дырах и старая солома, слежавшаяся в войлок. Я прошёл три шага и спустил Кулика с плеча, как спускают мешок, и он лёг на бок сам.

Следом влетел Бортников, ударился локтем в гофр — гулко — и схватился за створку.

— Закрывай! — сказал я.

Створку он тянул на себя двумя руками, упёршись ногой в порог. Шла она с визгом по петле и не доходила: угол её задирался, потому что контейнер лежал на боку и вело всю раму. Защёлка — штырь на кулачке — вставала мимо гнезда, на палец в сторону, и Бортников бил по ней ладонью и ругался.

— Не идёт!

— Плечом держи.

— Она не...

— Плечом.

Он поставил плечо в створку и врос, чуть присев, и в эту секунду в железо ударило снаружи.

Ударило с разбегу, всем телом, и контейнер сдвинуло по щебню — я слышал, как проскрёб по камню нижний угол, — и внутри загудело так, что заломило зубы. Гул стоял и не сходил, и в нём я не слышал ни Кулика, ни себя.

Бортников удержал. Створку выбило на две ладони, и он дождал её обратно телом и снова упёрся.

— Тридцать восьмой, — сказал он вдруг. Фонарь у него лежал на полу, отражатель выпал совсем. — Он за мной по описи.

— Держи.

— Я держу. Я говорю — по описи он за мной.

Ударило второй раз, ниже. Я стоял в темноте с пустыми руками и слушал, как Кулик дышит у меня под ногами.

Потом я пошёл руками по стенке. Глаза после красного света внутри ничего не брали, и я шарил ладонями — по гофру, по соломе, по чему-то мягкому, что рассыпалось под пальцами. Наткнулся на деревянный угол, сперва отдёргнул руку и полез снова: в углу стоял сколоченный ящик без крышки, полный железа. Я запустил в него обе руки.

Скобы, отрезок цепи, гайки россыпью, с полгорсти. Что-то плоское, проржавевшее насквозь, с обломанным краем. Ключ — рожковый, на четырнадцать, весь в кулаке спрячется.

А под самым низом взялось длинное, с загибом на конце, — монтировка. Я вытянул её и провёл рукой: длиной с локоть, лапа расплющена и завернута, стержень гранёный. Ржавчина шла коркой, но только сверху, а под ней железо было плотное. Лучше трубы. На троих лучше у нас ничего не было.

— Степан.

— Что?

Я подошёл, нашёл в темноте его руку — ту, что была свободна, — и вложил монтировку ему в ладонь, лапой от себя.

— Держи вот это. Трубу брось.

Он взял её и подержал на весу.

— А ты?

Труба у него стукнула о пол и покатилась к Кулику.

— У меня своё, — сказал я.

Арматурина лежала у ноги, там, где я её выпустил. Я поднял её, обхватил обеими руками у бедра и повёл острым концом к щели, где между кромкой створки и рамой оставалось пальца на два.

Снаружи по стенке прошло вдоль, боком, с нажимом, и гофр под этим тонко звенел.

— Юр, — сказал Кулик снизу. — Оно нас нюхает.

— Молчи.

— Я не жалуюсь. — Он перевёл дух. — Я говорю. У меня кровь идёт, а оно нюхает.

Я про кровь не подумал ни раза, и от того, что он это сказал, у меня в руках опять пошла дрожь — не с холода — она пошла в пальцах, и большой палец полез к указательному, будто крутил.

Снаружи заревели.

Ревели все три глотки разом, у самой стенки, в железо, и внутри стало не слышно вовсе. Я стоял и ждал, когда кончится.

Оно кончилось, и в тишине, шагах в сорока, кто-то отозвался. Тоже в три, но выше и жиже, с надрывом. А сразу за этим, левее и дальше, поднялся третий голос.

Бортников оторвал лицо от створки.

— Это сколько же их, — сказал он.

— Не знаю, — сказал я. — Три считал. Может, четыре.

— Четыре — это уже...

Он не договорил, потому что в створку ударило.

Ударило с разбега, всей тяжестью, и в железе загудело, а петля вверху хрустнула. Я присел и закрыл голову руками. Обеими, локтями внутрь, лицом в колени — так садятся, когда на седьмом рвёт фланец и по галерее идёт пар. Меня этому не учили, само вышло.

И Кулик поехал у меня из руки на пол. Сел, потом лёг на бок, и я услышал, как он ткнулся плечом в стенку. Руки у меня были на голове, а держать надо было его. Я разжал пальцы, взялся за стенку и стал вставать, но с первого раза не встал: портянка поехала по железу, и я снова сел на пятку. Со второго поднялся, подобрал арматурины и перехватил её у бедра.

— Ты цел? — сказал Бортников. Он всё это время держал створку плечом и никуда не садился.

— Цел.

Снаружи проволокли чем-то по стенке и отошли. Шаги ушли вправо, и шагах через двадцать посыпался щебень: полезли на груды, туда, где двор загибался к третьему корпусу. Рёв ушёл туда же и стал слышен уже с той стороны, глухо, через насыпь.

Мы стояли и слушали, а потом Бортников выпустил створку — сначала отнял плечо на палец и подождал, — и створка осталась стоять. Он сел на пол там же, где стоял, и было слышно, как он дышит.

Кулика я нашёл на полу и повёл ладонью по его боку: труба сидела на месте. Лоскут был мокрый, и ниже, под ремнём, мокрое было тёплое и шло дальше, на пол.

Значит, третий раз.

Я потянулся за мешком — снять его и достать брезент. Мешок я нёс на левом плече от самого цеха: три ключа с треснутыми рукоятками, кусок брезента, отвёртка и чужой сапог, который я подобрал у пролома, — левый, но по ноге. Плечо оказалось пустое. Я обшарил пол вокруг, полез рукой под Кулика, прошёл по полу шире и нашёл только ящик с железом.

— Мешок, — сказал я.

— Какой мешок, — сказал Бортников.

— Серый, — сказал Кулик. — С лямкой.

— Не твой. Мой. — Я сел на пятки. — С ключами. Я его нёс.

Где я нёс его последний раз, вспомнить не удалось. Помнил, как перекладывал Кулика на правое плечо перед открытым местом, — значит, мешок был ещё, лямка резала под ключицей. Дальше был щебень, и то, как я считал шаги и сбился, и створка. Где-то на этих ста пятидесяти он и остался. Идти за ним было нельзя.

В мешке был брезент, под ним легли бы все трое. И сапог там был, второй, я его два дня примерял и всё не решался разуться на ходу.

— Ладно, — сказал я.

— Юр, а моя-то где? — сказал Кулик. — Ты глянь, если рядом валяется.

— Тут ничего не валяется.

Бортников привалился спиной к створке и тёр коленом об колено.

— Я такие видел, — сказал он.

— Где?

— На плакате. У нас в караулке висел, за шкафом, там ещё угол отклеился. «Фауна закрытых территорий». — Он посопел. — Три штуки нарисованы. Одна вот эта, с головами, а под ней подпись, я её не читал. Я думал, это для нас клеят.

— Для кого?

— Ну для вашего брата. Чтоб не бегали. — Он повёл рукой в темноте. — Собак-то в конвое нет, а плакат есть. Значит, для страха. Я и говорил ребятам: страху нагоняют, а собак не дают.

Тот плакат я тоже помнил. Висел он в конторке над лестницей, слева от расписания, и на нём было четыре картинки в рамках, под каждой мелкая подпись в две строки. Я под ним расписывался за инструкцию про зоны и в него не смотрел. Думал: рисуют, чтоб не лазили за периметр.

— Их не для нас клеили, — сказал я.

— Ну да, — сказал Бортников. — Теперь-то я вижу.

Монтировка лежала у него на коленях, и он всё водил большим пальцем по гранёному ребру. Я поймал себя на том, что смотрю на неё. Такую же я держал каждую смену: ею отжимали кожух с насоса, и мастер, когда сомневался в фланце, посылал за мной и говорил при людях: Воронцов посмотрит. Не «двести четырнадцатый». А теперь монтировка была у охранника, а у меня — кусок арматуры с раскрошенным концом и портянка вместо второго сапога.

Я думал об этом секунды три, не больше.

Кулик перестал бормотать. Я услышал это только потому, что он всхлипнул — коротко, на выдохе, один раз, будто поперхнулся.

Я нагнулся к нему. Ладонь легла в мокрое, и мокрого стало больше, чем было, когда я его перевязывал. Я подтянул ему ремень на две дырки выше лоскута и подгрёб под бок соломы, чтобы бок стал выше.

— Тут остаёмся до утра, — сказал Бортников. — Дверь я держал, она стоит. Утром светло, видно будет, куда.

— Он до утра не дотянет.

— Ну а куда?

— В корпус. — Я вытер руку о штанину. — Ему надо развязать и промыть. А тут нечем и не во что. В подвале пожарный запас, я врезку на схеме видел, и бачки в душевых наверху. И стены шестьдесят сантиметров, кирпич по бетону. Эту стенку она сшибёт со второго раза.

— У меня фляга была, — сказал Бортников. — На дне ещё плескало. Так она в караулке на гвозде и осталась.

— Не сшибла же.

— Второй раз был ниже и вскользь. С разбегу она била один раз, и петлю вверх уже надорвало.

Бортников помолчал.

— Мне фонарь сдавать, — сказал он ни с того ни с сего. — Тридцать восьмой. Я его в описи за собой расписал, за неделю до всего этого.

— Сдашь.

— Я не про то. Я про то, что там опись, и она в диспетчерской была. — Он поднял голову. — А диспетчерской нет.

Далеко, за стенкой, стучали. Бил кто-то коротким и тяжёлым, вроде рукояти ключа, и звук выходил сухой, без звона. Я слушал и не сразу понял, что мне в этом не так. Стучали ровно: один раз, пауза, второй, пауза, и через каждые пять-шесть ударов пауза была подольше. Так не стучат, когда чинят или ломают. Так стучат, когда ждут, что ответят.

— Лесовозная, — сказал Бортников.

— Там в голос считали. А это один и в одном такте.

— Значит, кто-то живой.

— Значит, кто-то стучит.

Через щель у створки шло красное. Я пригнулся, поглядел в неё и первый раз за весь день увидел, что солнце село. Стало глуше, как лампа, когда прикручивают фитиль. Я посчитал на глаз: от силы час.

— Как замолчат, идём, — сказал я. — Ты первый, я его несу, монтировку не выпускай.

— А если не замолчат?

— Тогда всё равно идём.

Кулик под моей рукой сказал:

— У меня смена в семь.

И тут в тишине взяло сразу с трёх сторон. Одно било у самой створки, второе за спиной, там, где гофр глухой, а третье — левее, шагах в двадцати, и оно уже двигалось.

Глава 4. Костёр в бочке

Створку выбило на ладонь, и в щель пошло красное. Я лёг в неё плечом рядом с Бортниковым, и вдвоём мы дожали её обратно.

— Ящик, — сказал я. — Ящик подвинь под низ.

— Я держу.

— Ногой подвинь.

Он пошарил пяткой, зацепил и потащил. Ящик шёл по железному полу с грохотом, гайки в нём переваливались и сыпались через щели. Ящик встал углом под нижнюю кромку, и створка на него села.

Потом я взялся за арматуру.

Между створкой и стенкой контейнера, там, где гофр отходил от рамы, был зазор — с два пальца у верха и уже к низу. Туда я и завёл конец. Конец был раскрошенный, с заусенцами, и, лёгши на мокрое железо, он поехал. Я провёл рукой по стенке: с меня текло, и по гофру стояли дорожки.

Конец я вытер о солому и завёл второй раз. Он встал, я нажал плечом — и конец выскочил, ободрав мне ладонь между большим и указательным.

— Ты чего там, — сказал Бортников. — Ты держи. Не ковыряй.

— Держу.

— Ты не держишь. Я всё на себе.

Ударило коротко, будто пробовало. Створка отошла и села на ящик.

С третьего раза я поставил конец выше зазора, в дыру от вырванной заклёпки — там кромка была толще и не давала соскользнуть. Загнал его ладонью, потом добил пяткой. Клиן встал плотно, и когда я на него навалился, вся створка пошла в раму и застыла.

— Вот, — сказал я.

— Что вот.

— Теперь два упора.

Я сел на пятки, дыша через рот, и во рту был вкус металла.

Кулик лежал у стенки. Крови под ним натекло полосой — она шла от него к дырке в полу, и было слышно, как капает под контейнер, на щебень. Он держал ладонь у бока и шептал, и я нагнулся ближе, чтобы разобрать.

—...прокладку не ставили, — шептал он. — Второй год не ставили, а он подписывал... матушка... матушка, ты гляди-ка...

— Прохор.

—...он подписывал.

Ударило слева, в глухой гофр, и контейнер отозвался длинно. И тут же — у створки: тварь прошла вдоль, с нажимом, и в щели под моим клином прошло жёлтое. Полоса, узкая, с чёрной точкой посередине, постояла и ушла вбок.

— Оно в щель смотрит, — сказал Бортников.

— Видел.

— Так ты заткни её чем-нибудь.

— Заткну — сам посмотреть не буду.

В створку он сказал ещё что-то, но я не разобрал.

Дальше били с трёх сторон, но не вместе: одно в дверь, второе за спиной, а третье ходило кругом и заходило то там, то там. Я стоял с рукой на клине и слушал железо. Гофр держит поперёк, я их резал в цехе. Но держит он, пока рама целая, а раму у нас вело всю: контейнер завалило на бок и сдвинуло по щебню.

Потом Бортников сказал:

— Реже стало.

— Что?

— Реже бьёт. Ты считай, ты же считаешь.

Считать я стал сразу же. Между третьим ударом и четвёртым прошло долго — я успел до двенадцати, а до того успевал до четырёх.

— Ушло? — сказал он.

— Не знаю.

И в эту минуту снаружи вспыхнуло.

Свет прошёл в щель под клином, весь разом, белый, и на счёт стало видно всё: солому, ящик, гайки на полу, лицо Кулика с открытым ртом, монтировку у Бортникова на коленях. Потом свет кончился, и через два счёта пришёл хлопок — глухой, без раската.

Вой снаружи переменялся.

Он пошёл вверх, все три голоса, — так тянут, когда зовут. Что-то тяжёлое сорвалось от створки и пошло по щебню вправо, и через десять шагов пошло вскачь. За ним второе. Третье осталось: я слышал, как оно дышит у самого железа, и как под лапой ползёт камень.

— Живые, — сказал Бортников. Он отнял лицо от железа. — Слышишь? Это живые. Это они по ним.

— Тише.

— Так это же наши.

— Тише, я говорю.

Я стоял, держал руку на клине. У двери их стало меньше. Одно осталось, может, два. Дверь теперь держит одно вместо трёх, и держать её можно без Степана. Значит, из контейнера выйти можно.

А те, что ушли, ушли туда, куда мне и надо было идти. Вспышку с хлопком я до сегодняшнего дня видел один раз в жизни — на подстанции, когда закрывали разъединитель под нагрузкой, — и там после хлопка человек лежал.

— Степан, — сказал я. — Оно ушло не совсем.

— Да я слышу, что ушло.

— Не совсем. Оно кормиться ушло.

Он замолчал. Потом взял с пола фонарь без отражателя и стал вертеть его в руках.

Фанера лежала под соломой, у самой стенки, и я на неё до этого дважды становился и не понял, что это фанера. Лист был в полтора шага, по одному краю обломан, слои на изломе отошли веером. Я постучал по нему костяшкой — гудел, но не мягко.

— Степан. Брось фонарь, потом возьмишь. Ты под мышки, я под ноги.

— Дверь-то.

— Дверь стоит. У неё теперь одно.

— Одно, — сказал он и не пошёл. — Одно, а нас трое, и один лежачий.

— Иди сюда.

Мы подсунули лист сбоку. Я приподнял Кулика за плечо, Бортников тянул фанеру под него, лист шёл по железному полу, цеплялся за дыры, и его приходилось поддёргивать. Кулик застонал на середине и замолчал, а потом сказал:

— Ты меня на что кладёшь.

— На фанеру.

— Она сырая.

— Сухая.

Ремень я с него расстегнул. Тот держал лоскут прижатым к боку, и, пока я его вынимал, лоскут поехал, и я вдавил его ладонью и держал, а свободной рукой обвёл ремень поверх груди, под мышками, и через фанеру — в пряжку. Затянул на три дырки. Лоскут перехватил той полосой, что оставалась у меня от штанины, коротко и мимо трубы.

— Дышать могу, — сказал Кулик сам, без вопроса.

— Хорошо.

— Что хорошо-то. Ты сумку не глядел.

Клин я выбил ногой. Створка отошла на ладонь, стало слышно, как снаружи по камню тянет лапа — не у нас, левее, шагах в пятнадцати, — и я подождал, пока звук уйдёт дальше, и толкнул створку плечом.

Красного над двором больше не было. Было тёмно-серое, и в этом сером ничего не стояло по местам: щебень я видел под ногами, а всё, что дальше десяти шагов, шло одним пятном. Только в стороне, где двор загибался, лежал отблеск — низкий, рыжий, и он то садился, то поднимался.

— Техблок, — сказал Бортников одним воздухом. — Который под насос. Он приземистый.

— Идём на него.

— Так они туда и ушли.

— Туда.

Мы взяли фанеру и пошли. Я шёл спиной вперёд, потому что взял с того конца, где ноги, и оглядываться приходилось через плечо. Шли перебежками: до груды арматуры — стоим, слушаем, дышим, потом до следующей — и опять стоим. Дыхание срывалось на хрип в конце каждого выдоха. Правая нога встала на битый бетон боком, портянка поехала, и колено ушло внутрь — так же, как оно уходило днём под плитой, только теперь я его успел подхватить, сел на пятку и опустил свой край фанеры на щебень.

— Ты чего, — сказал Бортников.

— Держу.

— Ты его чуть не вывалил.

— Держу, я сказал.

Он стоял с поднятым краем, и Кулик у него на ремне съехал набок и висел так.

От третьей груды до четвёртой было шагов двадцать, и я эти двадцать считал. На тринадцатом из-за битого кирпича слева вышло. Вывалилось боком, тяжело, и было оно ниже тех, что я видел днём, и шло припадая. Головы качались все три, а нижняя шла у самого щебня.

Арматурина лежала у Кулика вдоль ноги, на фанере. Я выпустил лист — он стукнул углом — и взял её одной рукой у конца и ударил наотмашь, снизу вверх, потому что низом заходила нижняя голова.

Попал вскользь: железо прошло по морде и содрало кожу, и оно взвизгнуло — визг вышел из одной глотки, две другие остались открыты и молчали, — и отшатнулось всем корпусом вправо. И на отходе задело меня.

Я не понял, чем именно: просто по левому предплечью прошло, и рука дёрнулась сама. Я перехватил арматуру, махнул второй раз, в пустое, — оно уже ушло за кирпич и там кашляло.

— Бери! — сказал я. — Бери, пошли!

Мы взяли и пошли, и я на ходу посмотрел на руку. Рукав был разодран от локтя вниз, и в разрыве стояло тёмное и набухало ровно, без толчков. Больно не было, а стало больно шагов через десять — сразу и целиком.

Отблеск поднялся выше, и стена вышла из серого шагах в двадцати — низкая, кирпич по бетону, и в ней проём без двери, и в проёме стояло рыжее, и от рыжего по щебню шли длинные тени. Тянуло дымом и жжёной резиной. Внутри, за проёмом, что-то ровно стучало — один раз, пауза, второй.

— Юр, — сказал Кулик с фанеры. — Тут светло. Ты глянь сумку.

— Нет её, — сказал я.

— Так ты глянь.

Я не ответил. Порога у входа не было — был отбитый край, а на нём железный уголок, и я перешагнул его первым, потому что фанеру мы несли узкой стороной вперёд.

Бочка стояла шагах в шести от входа, на кирпичах, и над ней ходило рыжее. В бочке комками горели бумаги, и по краю висел чёрный обугленный лоскут, вроде ветоши, и от него тянуло тем самым, резиновым. Рядом на полу лежала растрёпанная папка, из неё было надрано.

За бочкой стоял человек.

Он стоял к нам лицом, держал прут — гладкий, в мою руку толщиной и длиной с полтора локтя, — держал двумя руками, у плеча, как держат перед тем, как бить сверху. И когда я шагнул в свет, он дёрнулся и отступил на шаг, и прут пошёл выше.

Я опустил свой край фанеры на пол — медленно, потому что быстро у меня всё равно не выходило. Арматуру положил на лист, вдоль ноги Кулика, а левую руку поднял, ту, что была разодрана, и рукав с неё свисал мокрый.

— Свой, — сказал я. — Воронцов. Двести четырнадцатый.

Прут он не опустил. Стоял и смотрел мне в лицо, потом ниже — на робу, на крючки, на нашивку. Огонь бил ему в глаза, и он щурился и наклонял голову, чтобы смотреть мимо огня.

— Двести четырнадцатый, — сказал он.

— Каторжник. Инженер седьмого контура.

— Инженер.

— Механик, если тебе так проще.

Он опустил прут — не совсем, до бедра, — и переложил в одну руку, в левую. Правую он держал странно, скобкой, и я увидел, что кисть у него старая, кожу стянуло, палец не разгибается: горело, и давно, не сегодня.

— Гвоздарёв, — сказал он. — Тимофей. Кладовая техблока за мной была, скобы, цепь, ключи. По описи.

— По описи, — сказал сзади Бортников. — Слыхал.

— Ты помолчи.

Тимофей повёл прутом в его сторону, но не поднял.

— Я тут с самого, — сказал он и стал говорить медленно. — Сидел в темноте. Досидел до того, что стало нельзя.

— Чего нельзя?

— Сидеть. — Он потёр ладонью подбородок, и щетина под ней прошуршала. — Я не расчёт делал. Я костёр в бочке развёл, потому что один не мог. Вот и всё. Папки нашёл, ветошь в ящике была, в масле, она долго держит. Я думал — увидят и придут. Люди придут.

— Тебя не люди могли увидеть, — сказал я.

— Ну да. — Он помолчал. — Они и пришли. Две штуки. Ходили тут по двору, вот у стены, я слышал по щёбню. И ушли. — Он опять взялся за щетину и остановил руку. — Так они ко мне ходили. Понимаешь? Пока они у меня тут ходили, они у кого-то другого не ходили.

— Может быть.

— Я не про «может». — Он поглядел на бочку, потом на меня. — Я со страху развёл. А выходит, к делу.

— Выходит.

— Так не бывает же, — сказал он. — Чтоб от страха и к делу.

Он стоял и мотал головой, коротко, и всё трогал подбородок, и один раз подпихнул ногой кирпич под бочкой, чтобы не качалась. Подпихнул и проверил ещё раз, уже без надобности.

Позади меня Бортников опустил фанеру. Опустил в один приём, углом, и Кулик на ней стукнулся и застонал — громче, чем стонал всю дорогу, в голос.

— Ты его на пол-то не бросай, — сказал я.

— Я не бросаю. У меня руки отнялись.

Тимофей замолчал на середине слова. Он смотрел на фанеру. Кулик лежал на боку, ремень у него блестел, и от бока по фанере шло тёмное и уже дошло до края, и с края капало.

Он подошёл, переложил прут под мышку, нагнулся и посмотрел на трубу в боку — не тронул, только посмотрел. Перевёл глаза на мой рукав. И ничего не спросил: ни кто, ни где, ни как это вышло.

— К огню, — сказал он. — Тут сквозит от проёма, а у бочки стоит тепло. Берись за тот угол, я за этот.

Мы взяли фанеру, я — с той стороны, где рука была целая. Он поднял свой край обожжённой, согнув пальцы скобкой, и понёс ровно.

Мы прошли шагов четыре, и у входа за нашими спинами прошло по щебню.

Это была не осыпь. Ветер тянул из проёма ровно, всё время в одну сторону, и дым от бочки шёл туда же. А это прошло поперёк, коротко, и стало.

Свой угол я опустил и взял арматуру, что стояла у бочки, и перехватил её обеими руками, как держал в контейнере, у бедра. Бортников сел на пятки за фанерой и поднял монтировку лапой вперёд.

Из тёмного проёма вышла женщина.

Она вышла прямо, не пригибаясь, и остановилась. Халат на ней был серый и по подолу чёрный от сажи, рукава закатаны выше локтя, и к груди она прижимала сумку с лямкой через плечо. Сумка была брезентовая, с красной полосой, и полоса была замазана.

Она посмотрела на нас, на фанеру, на то тёмное, что капало с края на бетон. И пошла к Кулику, обошла бочку с той стороны, где не сквозило, поставила сумку на пол и опустилась на колени в мокрое, не поглядев, куда садится.

— Ремез, — сказала она. — Аглая. Фельдшер, медпункт обслуживающего корпуса. — И, уже над Куликом: — Свет держите мне сюда. Ближе.

Бортников поднял фонарь, вспомнил, что отражателя нет, и полез поправлять кирпичи под бочкой — поднять её выше. Тимофей молча взял его за плечо и переставил сам.

Она отвела ремень, потом разорванную рубаху — двумя пальцами, от края, где ткань уже разошлась, — и повела ладонью по боку вокруг трубы. Не нажимала. Обошла кругом раз, потом второй раз тем же кругом, и на втором поджала губы.

— Проникающее, — сказала она. — Инородное тело сидит, я его не трогаю. Кровь тёмная, идёт ровно, не толчками. Крупный сосуд цел.

— Он второй час так, — сказал я.

— Значит, повезло. — Она вытянула из сумки рулон, надкусила бумагу и размотала конец на два оборота. — Это серьёзно, но это не смертельно. Если остановить сейчас.

— Пить, — сказал Кулик.

— Нет. Не поить. — Она повторила: — Не поить. При таком не поят. Можно смочить губы, если найдёте чем.

— У меня фляга в караулке осталась, — сказал Бортников. — На гвозде.

Она не ответила. Сложила бинт в четыре и подложила его под трубу, ровно по краю, мимо железа, — так, как я подкладывал портянку, только у неё это вышло с одного раза. Потом стала вести рулоном вокруг, и на четвёртом обороте велела мне придержать под спиной, и я придержал.

— У меня смена в семь, — сказал Кулик.

— Хорошо.

— И сумка серая. С лямкой.

— Хорошо, — сказала она и подтянула. Он охнул. Она подтянула ещё. — Дышите. Глубже не надо, ровно.

Рулон кончился у неё на середине. Она отмотала остаток, закрепила и посмотрела в сумку.

— Два, — сказала она. — Было четыре. Две упаковки я выложила в корпусе. Йод есть, немного. Всё.

Потом она поднялась, обтёрла ладони о халат, посмотрела на них и обтёрла ещё раз, но чище они не стали. И взяла меня за руку ниже локтя, повернула к бочке и отвернула мокрый рукав.

— Это что?

Там, где рукав отходил, кожа была содрана в двух местах, и края шли дугой, будто выщипано, — железо так не рвёт. Я и сам глядел на это первый раз при свете. С контейнера рука была мокрая до кисти, и я всё это относил к локтю, который разодрал ещё в цехе, о прут.

Ждал я, что будет резать, как резануло в цехе, когда ключ сорвался и прошёл по костяшкам, а тут не резало. Потом пошло жжение, будто под кожей приложили горячее.

По технике безопасности нам читали два раза в год, в конторке, под роспись. Там была ожоговая мазь, было и про поражение током: обесточить, оттащить сухим, не касаться. Про такое не было.

Я зажал рану ладонью и подержал так.

— Не сейчас, — сказал я и отнял руку. — Ему хуже.

— Ему я сделала. — Она не отпустила, посмотрела ещё и отпустила. — Покажете у огня. Через сколько это получено?

— Не считал.

— Считайте, — сказала она и села обратно к Кулику.

Тимофей всё это время стоял с прутом под мышкой и тёр подбородок, а потом рука у него замерла.

— Тоннель, — сказал он. — Под нами. Я тут склад принимал, мне под кладовую чертежи на руки давали, синьку, и я их два года подшивал. Технический ход идёт вдоль блока, под полом, и выводит на ремонтные люки. Высотой он мне по грудь, стоя не пройдёшь, а шириной — двоим не разойтись.

— Не разойтись, — сказал я.

— Вот. — Он показал прутом на пол. — Крупная туда не пролезет.

Бортников встал.

— До света часов восемь, — сказал он. — А к свету они опять пойдут, и нас на дворе видать со всех сторон. — Он кивнул на фанеру. — А мы с ним пролезем? Он же не идёт.

— Пролезем боком, — сказал я.

У входа зашуршало опять, и уже не осыпью, а иначе. По бетону прошло железо — четыре или пять раз, вразнобой, с нажимом, — а потом стихло у самого проёма, на свету от бочки.

Глава 5. Обвал

Крышку люка Тимофей завёл на место сам, снизу, стоя на скобах: подпёр плечом, поддел прутом, подпёр опять и подёргал.

— Держит, — сказал он. — Не на всю. На одну петлю она садится, вторая с мясом вышла.

— Идём.

— Я говорю, чтоб ты знал. Наверху её отожмут, если захотят.

Внизу было по грудь, и стоя не пройдёшь — про это говорили ещё в техблоке, но понял я только тут: шёл согнувшись, шеей вперёд, и лбом раза три приложился о бетон. Под ногами хлюпало. Грязь была жидкая, с осыпавшейся штукатуркой, и куски штукатурки резали босую пятку. Портянка размокла в первые же двадцать шагов и сползала на ходу.

Фонарь Бортников держал в зубах, а когда понадобились обе руки, сунул его в карман. Без отражателя он светил на полтора шага, и в этом пятне я видел только то, во что уже наступил.

Вой шёл сзади, из-под крышки, и не стихал. Мне слышалось — стал ближе, — и я себе сказал: это тоннель, тут труба, тут любой звук идёт вдоль и приходит громче. В галерее у седьмого так же: разговор от лестницы слышно у самой турбины, а между ними шестьдесят шагов.

Фанеру несли Степан с Тимофеем. Я шёл последним, с арматуриной, и оглядываться было некуда — сзади темнота, и всё.

— Стой, — сказал Тимофей. — Тут сужение, и с этой стороны я не пройду.

— Меняйтесь.

— Так не разойдёмся.

— Опускайте и меняйтесь.

Они опустили лист в грязь. Тимофей прижался спиной к стене и пошёл боком, вдоль, переступая через Прохора, и на середине встал: куртка зацепилась за скобу в кладке, и он её отдирает, а отодрав, взялся за эту скобу и подёргал.

— Сидит, — сказал он. — А та, что у люка, вышла. Значит, ставили в разное время. Я скобы принимал по описи, у меня их было двести штук, и я...

— Иди уже, — сказал Бортников.

— Иду.

Прохор при каждом толчке брал зубами край рукава и держал. Я это увидел один раз, когда фонарь мазнул по фанере, а дальше только слышал: он не кричал, он мычал сквозь ткань, коротко, на выдохе, и после мычания говорил что-нибудь ровным голосом.

— У меня смена в семь, — сказал он.

— Ровнее несите, — сказала Аглая. Она шла между ними, пригнувшись, и держала свою сумку под мышкой. — Ровнее. Повторяю: ровнее. Ему нельзя трясти, там инородное тело сидит.

— Тут пол не ровный, — сказал Бортников.

— Я про руки, не про пол.

Прошли, я считал, шагов сорок. На сорок первом сзади заскребло.

Скребло по кладке, высоко и низко разом, и на осыпь это не походило: осыпь идёт сверху вниз и кончается, а это шло вдоль. Тварь протискивалась в тот же лаз, и лаз ей был тесен.

— Свет назад не давай, — сказал я. — Держи впереди.

Я развернулся, но в полный оборот развернуться не вышло — плечом взял стену, — и я стал боком, взял арматуриной обеими руками у бедра, как держал в контейнере, и повёл конец на звук.

Видно не было ничего, и я стоял в черноте и слушал, где скребёт, и скребло уже в двух местах: ниже и правее. Я взял на слух, между двумя, и ударил.

Пошло вскользь по кирпичу — заскрежетало, отдало в кисти, — а на выходе конец вошёл в мягкое: туго, и вдруг провалилось.

Взвизгнуло — из одной глотки, две молчали.

Потом пошла возня. Оно билось в тесноте, скребло сразу со всех сторон, и я не понимал — лезет оно на меня или назад. Я ударил второй раз, в то же место, ниже, и попал в кирпич, и арматуру мне вывернуло из левой руки, так что подхватил я её правой.

Возня отошла или встала — разобрать было нельзя: темно, и в трубе всякий шум обманывает, кажется ближе, чем он есть.

— Попал? — сказал Бортников.

— Не знаю.

— Ты бил-то?

— Бил.

— Так попал или нет?

— Не знаю, — сказал я. — Оно там.

Левое предплечье с этого удара жгло, будто приложили горячее, и жгло шире, чем содрано, — до самой кисти.

— Идём, — сказал Тимофей. — Сорок шагов до первого люка. Я по синьке мерил, только синька была двухлетняя.

— Сорок ты уже сказал.

— Я сказал до сужения. Теперь до люка.

И тут сверху ударило.

Один раз, глухо, и не по нам — выше, через перекрытие, там, где двор. Пыль мелко пошла с потолка на плечи, как из сита. Через два счёта ударило второй раз, и в третий, и после третьего бетон над нами затрещал — тонко, часто, как будто ломали сухие щепки.

Аглая опустилась на колени в грязь и положила Прохору руку на грудь.

— Не пойте его, — сказала она в темноту.

Тимофей стоял и слушал потолок, задрал лицо, и рука у него сама пошла вверх — потрогать бетон.

— Пыль мелкая пошла, — сказал он. — Значит, шов.

И сразу же он сказал, высоко и коротко, не тем голосом, каким говорил у бочки:

— К кладке! Все к кладке! От середины!

Я взял фанеру за угол и потянул на себя, к стене, и Бортников с того конца потянул тоже, и лист пошёл по грязи боком. Прохор на нём поехал под ремнём и сказал что-то про сумку. Я не разобрал.

Позади, шагах в шести, сошло.

Не камень: сошла плита, целиком, и легла в тоннель торцом. Воздух ударил меня в спину и толкнул лицом в стену, уши заложило, и дальше я слышал одно: как сыплется. Сыпалось долго, мелким, а под конец отдельными кусками.

Тут же ударило второе — ближе, у фанеры, в полушаге от Прохоровой головы. Обломок был меньше первого, с половину дверцы, и он лёг углом, и угол накрыл мне правую ногу ниже колена. Ту же, что днём под панелью.

Я дёрнул — не сильно, так дёргают, когда уверены, что нога сейчас выйдет. Такие куски я в цехе кантовал по одному, руками, без лома, и этот был не больше тех, но он не пошёл.

Дёрнул ещё раз, с разворотом бедра, упёрся ладонями в бетон рядом — ногу выкручивало, а она стояла. Тут у меня перехватило дыхание, и я секунду сидел с открытым ртом и ничего не делал.

Потом взялся за арматуру. Завёл конец под кромку, поискал, во что упереть, — упереть было только в грязь, — и нажал. Конец ушёл в грязь до загиба. Я переставил его правее, на битый кирпич, и нажал опять, и кирпич сел.

— Степан, — сказал я. — Сюда.

— Куда сюда, я не вижу.

— На голос. Мне ногу прижало.

Он пошёл сразу, задел меня фонарём по плечу, потом коленом, и стало светло в одном пятне: моя рука, кромка обломка, портянка у самых пальцев.

— Тимофей!

— Иду. — Он подошёл с другой стороны и присел. — Не ломом. Ты его сдвинешь на неё же. Руками, катом.

Они взялись вдвоём, снизу, и стали катить. Обломок пошёл, встал, пошёл опять. Из бетона наружу торчала арматура, три обрубленных прута, и они хватались прямо за неё, потому что больше было не за что. Тимофей взялся обожжённой, левой рукой, и рычал сквозь зубы.

— Тяни ногу! — сказал он. — Теперь тяни!

Я вытянул. Стопа вышла из-под кромки, и я подобрал её к себе и подержал руками. Стопа была на месте, вся, только не своя. Портянка размоталась совсем и лежала в грязи серой лентой.

— Цел? — сказал Бортников.

— Цел.

Сидя на пятке, я держал стопу в руках и думал одно: сорок один шов на седьмом контуре я знал наизусть, а из-под обломка меня вытащили двое, руками, за арматуру.

— Ладони покажете, — сказала Аглая из темноты. — Оба. После.

Пыль садилась долго и садилась на всё, и я чувствовал её на губах, на зубах, в мокром на левом предплечье.

А вой снаружи пропал совсем, и только очень далеко и сверху шло что-то ровное, как через воду.

— Отрезало, — сказал Бортников. — Слышите? Отрезало её.

— Тише.

— Так я тише и говорю. Я говорю — она там осталась. — Он посветил на плиту и опустил фонарь. — Тридцать восьмой при мне. Я его не выпустил.

Аглая шарила по камням. Сумку ей присыпало углом, и лямка ушла под щебень, так что тянуть она не стала — завела руку внутрь по локоть и вынимала на ощупь. Вынула пузырёк, покатала в пальцах, поставила у колена, потом рулон, потом второй.

— Два, — сказала она. — И йод. Всё целое.

— Ты бы посветил ей, — сказал я.

— Я ей и свечу.

Тимофей поднялся и ушёл вперёд, в темноту, и было слышно, как он ведёт прутом по кирпичу и считает. Наконец он дошёл, и прут стукнул в бетон коротко, без пустоты.

— Двадцать два шага, — сказал он. — И там тоже.

— У меня смена, — сказал Прохор с фанеры. — В семь я должен быть у щита.

— Хорошо, — сказала Аглая. — Будете у щита. Ложитесь на спину и не помогайте мне.

Она вытерла руки о халат, посмотрела на них и сказала Тимофею:

— Вода у вас.

— Фляга. — Он снял её с плеча, качнул и не отдал сразу. — Тут на треть. Больше у нас нет ничего.

— Мне на промывание. Полторы ладони.

— Полторы ладони — это сколько?

— Это меньше, чем вы думаете.

Он отдал. Потом достал зажигалку — бензиновую, с погнутой крышкой, — и щёлкнул. Колесико провернулось со второго раза, и он подержал огонь у её колена.

— Юрий Дмитриевич, фонарь, — сказала она.

Бортников фонарь не дал, а только переложил его в другую руку и сказал:

— Тридцать восьмой.

— Дай сюда.

— Он за мной по описи.

— Описи нет, ты сам сказал.

— Я сказал, что её нет там, — сказал он. — А то, что я за неё расписался, — это есть.

Я взял фонарь у него из руки. Он не тянул его назад, только проводил меня глазами и сел к стене, и я слышал, как он там устраивается и отряхивает колено, долго, всё одно и то же место.

Фонарь без отражателя светил узко, в одну точку, и пятно ходило от каждого моего вздоха. Я подпёр локоть о поднятое колено, но и оно ходило.

Она развязала бинт, размотала и повела водой по краям, вокруг, сгоняя грязь наружу, но в рану не лила. Вода уходила в фанеру и в щели, а на второй ладони она остановилась и обтёрла себе пальцы — той же водой.

— Вы её на себя тратите, — сказал Тимофей.

— На себя.

— Так ведь ему же надо.

— Ему в первую голову — чтобы я его чистыми трогала. — Она подождала. — Держите огонь ниже.

Иглу она достала из сумки, из бумажки, а нитку взяла с рубахи у Прохора — с того края, где ткань уже разошлась, — вытянула суровую нить, длинную, и протянула её через пальцы дважды. Потом стала вдевать. Свет прыгал, а она подводила нить к ушку почти на ощупь, снизу, и покусывала губу. Со второго раза попала.

— Будет больно, — сказала она. — Не терпите молча, но не дёргайтесь.

— Я не дёрнусь.

— Дёрнетесь.

Она взяла его рукав и вложила ему край в зубы. Прохор сжал и застонал в ткань глухо, а на четвёртом стежке стон пошёл через нос, длинно.

— Долг, — сказал он, когда она отпустила. — Ты слышишь, Юр. Я тут по долгу.

— Слышу.

— Сорок два рубля. — Он подышал. — За брата. Он подписывал, я и не читал ничего... а мне сказали — отработаешь на казённом, три года, и чисто.

— Не говорите, — сказала Аглая.

— Так я не тебе говорю. — Он повернул голову к огню. — Я думал деньгами отдать. Я не думал, что вот так отдам.

Пахло кровью и йодом, йодом сильнее. Этот запах я знал с детства: у нас в доме держали лекаря, и он ставил мне на разбитое колено горячий компресс в тряпке и придерживал ладонью, а мать стояла в дверях и говорила, что довольно уже. От компресса шёл пар. Здесь были фляга на треть, две упаковки бинта, нитка из рубахи и мой фонарь без отражателя. Больше взяться тут было нечему.

Предплечье под пылью жгло ровно, и я об этом не думал. Я думал про компресс.

Портянка лежала у моей ноги серой лентой, я потянул её к себе и стал сматывать с носка, но фонарь ходил, и я бросил дело на середине.

Тимофей ушёл вбок с зажигалкой и там гасил её, а потом щёлкал опять — берёт бензин. Он вёл ладонью по завалу и говорил вслух:

— Три... шесть... восемь. Восемь на два. Трещина идёт наискось, но она в кладке, а не в плите. Значит, держит.

— Ты бы сюда светил, — сказал Бортников из темноты.

— Я считаю.

— Ты считаешь, а я ничего не вижу.

— Двадцать... двадцать четыре. — Он замолчал. Потом сказ

ал:

— Решётка. Вентиляционная, в две ладони. Забита щебнем, но за ней тянет.

— Куда тянет?

— Наружу тянет, куда ещё. — Он погасил огонь. — Я её расчищу. Ты мне не мешай считать.

Я сказал, что помогу, и не пошёл. Перстень у меня был на левой, на среднем, и я его весь день не видел, а тут при огне он бросился в глаза. Кровяная пыль набилась в углубление вокруг щитка и стояла там коркой. Я поддел её большим пальцем и стёр — вышло не сразу, пришлось водить. Камня на нём не было, только щиток с насечкой, и эту насечку я знал наизусть с семи лет. Отец надел его мне на четырнадцать и сказал при родне: род один, а служб много. Он бы сейчас увидел меня тут: я сижу на битом кирпиче в чужой портянке, рядом фельдшерица шьёт турбинного суровой ниткой из его же рубахи, а охранник считает свой фонарь. И я тут не начальник, а пятый, и всё.

Мне от этого было стыдно, и вместе со стыдом шло что-то другое — легче. Будто с меня сняли то, что я всю смену на себе держал.

Тимофей возился один. Я слышал, как он выбирает щебень из решётки и складывает его в сторону, по одному куску, и как прут скребёт по бетону. Вдвоём бы вышло скорее, но я поднялся уже потом, когда он сказал:

— Есть. Пролезет рука.

— Прости, — сказал я. — Я сидел.

— Сидел, — сказал он и больше ничего не добавил.

Он подошёл к бочке, присел на пятки и растопырил обожжённую руку над жаром.

— Слушайте, — сказал я. — Обслуживающий корпус.

— Он цел, — сказал Бортников. — Я говорил, он цел, я его от диспетчерской видел.

— Не про то. Я синьку смотрел на седьмом контуре, у нас в конторке подшивка. Там на корпус два ввода: один городской, второй резервный, от старого рудничного водовода. Резервный не отключают, он на бачки и на пожарный запас в подвале. Если городской лёг — резервный стоит.

— Может стоять, — сказал Тимофей.

— Может. — Я и сам это знал. — Но кладка там в полметра с лишним, по бетону. Это не нора, а покрытие.

В голове у меня стало ровно, первый раз с самого утра. Я говорил про вводы, и это было моё, я это читал и подписывал, и помнил это лучше, чем то, где потерял мешок с ключами.

— Я туда бочки возил, — сказал он. — Завозные, по двести литров, две на телеге. Летом через день, зимой реже. Двор насквозь не проедешь, там ступени. Я ходил техническим кварталом, мимо компрессорной, потом между складами, там проулок и он выводит к торцу, где рампа.

— Далеко?

— По телеге четверть часа. — Он подумал. — Пешком не знаю. Мы-то с грузом.

— А развалины? — сказал Бортников.

— Развалины я не видал, — сказал Тимофей. — Я проулок помню. Стены там глухие, хоть с одной стороны, и это всё же лучше открытого места.

Аглая, не поднимая головы, сказала:

— Не сегодня.

— До света час, — сказал я.

— Я слышала. — Она закрепила нитку и обрезала её о край скобы, потому что ножниц у неё не было. — У него сейчас шов. Если вы его через час понесёте на фанере по щебню, шов пойдёт. Ему нужен час покоя лёжа. Хотя бы час.

— Час — это и есть рассвет, — сказал я.

— Значит, до рассвета он лежит, — сказала она. — А потом вы его несёте. Я не про то, чтоб не идти, а про то, чтоб он дошёл.

Бортников сказал, что тогда надо идти сразу, как посветлеет: к свету твари опять полезут. Тимофей сказал, что до рампы дойдём, если проулок не завален. Прохор сказал в темноте, чтоб его разбудили к семи.

— Ждём здесь, — сказал я. — Как станет видно щебень под ногами — выходим. Тимофей первый, он помнит проулок.

Никто не спорил, и Тимофей только кивнул и тут же полез трогать кладку у себя за спиной.

Аглая вытерла руки о халат и сунула ладонь себе за пазуху, во внутренний карман. Вынула бумагу — клочок, мятый, сложенный вчетверо, — подержала в двух пальцах и повернула к бочке, но смотрела недолго, а потом сложила, убрала обратно и прижала карман ладонью снаружи.

Я не спросил.

Лодыжка к тому времени затекла и стала толстая под портянкой, и я сидел, вытянув ногу.

Потом решётка посветлела. Сначала я подумал, что это от бочки, и обернулся — в бочке дожигало, рыжего почти не было. А в щели, которую расчистил Тимофей, стояло серое, ровное, и в нём были видны прутья решётки.

И вместе со светом оттуда потянуло — тонко, едко, не дымом и не резиной. Тянуло со стороны технического квартала, оттуда, куда нам было идти.

— Это что? — сказал Бортников.

Никто не ответил.

Глава 6. Маслянистая вода

Раму выбивали вдвоём. Тимофей бил прутом по кладке вокруг решётки, кирпич отходил крошкой, а решётка не шла. Я подсунил арматуру под нижний угол и нажал — конец соскользнул, и я приложился костяшками о бетон. Со второго раза завёл выше, в шов, и рама пошла — вся сразу, с куском кладки, и вывалилась нам под ноги.

— В две ладони было, — сказал Тимофей. — Теперь плечо пройдёт.

Он полез первым, как договорились. Куртка прошла в дыру туго, проскребла по кирпичу. Он там повожился немного и затих.

— Ну? — сказал Бортников.

— Стой, я гляжу.

— Чего глядишь, ты скажи.

— Стой.

Меня он вытянул за руку, за целую, и вставал я в два приёма — с левого колена, — а спину разогнул не до конца. Правую ногу я поставил боком, на внешнее ребро, потому что на пятку она не шла. Арматуру сунул под мышку и оперся на неё.

Небо было серое, без края, и светило оно со всего неба разом — так же, как красное вчера, только теперь белёсое. Я зажмурился, посчитал до десяти и открыл глаза, но резало всё равно. Слёзы шли сами, и я вытирал их рукавом, и рукав был в пыли.

Цеха лежали до горизонта.

Я насчитал восемь пролётов и бросил считать. Кровель не было нигде: стояли рёбра — фермы, ряды колонн, и между колоннами свет проходил насквозь. Дальше, где я знал третий пролёт, лежала гряда, и из гряды в одном месте торчала лестничная клетка, целая, с перилами, четыре марша, и никакой стены при ней.

А в бетоне росло.

Смотрел я вдаль и не сразу углядел то, что было близко. У самой дыры, из которой мы вылезли, шла трещина в отмостке, и в трещине сидели наросты. Гранёные, с кулак и мельче, они набились в трещину гроздьё и поблёскивали — без солнца, без огня, сами по себе, слабо. Я присел на здоровое колено и посмотрел ближе, но не тронул.

Реагент нам возили в бидонах, и на фланцах седьмого контура он к весне садился наростом — жёлтая корка с гранью, её сбивали зубилом. Похоже, да только тот был плоский, в палец, и не светил ничем. Этот был крупнее и ярче. Может, и не реагент. Может, я просто ничего похожего не видел.

— Не наступи, — сказал я. — Тут вот это.

— Что там?

— Не знаю. Обходи.

За спиной у меня Бортников поднял с земли обломок кирпича и замахнулся.

— Не бросай.

— Я только проверить.

— Я сказал — не бросай. Камень вчера в такое кинули, его не стало.

Кирпич он подержал, положил обратно и вытер руку о штанину.

Тимофей стоял в стороне и глядел на небо, приложив ладонь ко лбу козырьком. Поворачиваясь всем корпусом, он отошёл шагов на десять и вернулся.

— Труба, — сказал он. — Одна. Вон.

Труба стояла правее ограждения. Из четырёх осталась одна, и та наполовину.

— И вышка. Ты не увидишь, там от неё ноги. Четыре ноги и обруч. — Он показал прутком. — Я на неё правил, когда с бочками шёл. От трубы держишь на вышку, а как вышка встала слева — тут тебе и компрессорная.

— А компрессорная стоит?

— Компрессорной я не вижу. — Он опустил руку. — Вышки хватит. Она железная, её так не сложишь.

— Далеко?

— Телегой доезжали в четверть часа, я тебе говорил.

— Ты про телегу говорил.

— Ну а я больше ничего и не знаю, — сказал он и пошёл трогать раму, которую сам выбил: подёргал за прут, поставил её к стене на угол, посмотрел и переставил ровно.

С монтировкой в руке Бортников ушёл вдоль стены. Он обошёл техблок целиком — с той стороны было слышно, как он идёт по щебню, — и вернулся с другого края.

— Пусто, — сказал он. — По двору пусто. И следов нету — тут камень, на камне не видать.

— Хорошо.

— Чего хорошего. — Он остановился и стал слушать, задрал лицо. — Всю ночь голосили, а теперь ни одного. Куда они за час подевались?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю.

Тянуло с той же стороны, и во рту от этого стоял железный привкус. Туда нам и надо было идти.

Аглая вылезла последней, встала, обтёрла ладони одна о другую и посмотрела на свои ладони.

— Фляга у меня, — сказала она. — Меньше четверти осталось.

— Юр, — сказал Кулик снизу, из дыры. — Светло уже. Который час?

— Не знаю, — сказал я. — Часов ни у кого нет.

— Так светло же.

— Светло, — сказал я. — Значит, утро.

— Утро — это когда семь, — сказал он. — А если восемь, я уже опоздал.

— Двенадцатый час с начала смены, — сказал Тимофей от стены. — Я считал по бочке. Ветошь в масле идёт часа четыре, а у нас она догорела и ещё сверху темноты было. Так что не семь тебе.

— Как это не семь.

— Никак, — сказал Тимофей и пошёл к дыре брать фанеру.

Вытащили его и пошли.

Двор был весь в щебне, а между щебнем как попало лежали плиты битого бетона, углами вверх. Ровного места не было нигде, и потому шли мы так: четыре шага, стоп, поправились, ещё четыре. Фанеру несли по двое, менялись, когда у переднего начинали ходить руки. Я нёс то третьим по очереди, то четвёртым. Кулика на каждом наклоне сползало вниз, и мы его подтягивали за ремень, а он молчал, только брал зубами рукав, как в тоннеле.

Пятку я на первых же двадцати шагах порезал о битую плитку до крови и дальше ставил ногу на носок, а от этого пошло в колено. Тогда я сел, оторвал от левого рукава то, что и так висело от локтя, обмотал ступню в два оборота и заправил конец между большим пальцем и вторым. Хватило шагов на сто, потом разматалось, и я обмотал заново — второй раз плотнее.

Говорить перестали: только спрашивали и отвечали, и всё.

— Держи.

— Держу.

— Не с той стороны берёшь.

— Да с какой скажешь.

За периметром, далеко, опять постучали по железу — три раза, пауза, три раза. Бортников встал и повернул голову на звук.

— Наши, — сказал он.

— Может, наши.

— Так пойдём.

— Мы к корпусу идём, — сказал я.

Он ещё постоял, послушал и взялся за свой угол. Стучать перестали.

У длинной стены, где выломанный швеллер торчал поперёк, Тимофей опустил фанеру и сказал:

— Стой.

— Что?

— Считать надо.

Он сел на пятки, взял у Аглаи флягу, поднял её к уху и пошёл щёлкать ногтем от донца вверх. Щёлкал и слушал: вверху звук шёл пустой, внизу глухой. Он нашёл, где меняется, и придержал там палец.

— Ниже плеча на два пальца, — сказал он. — Это у нас с полкружки. Может, чуть больше, фляга книзу пузом.

— И что с того.

— А то, что нас пятеро и один лежащий, и лежачего поить нельзя, она сказала. — Он поставил флягу на колено. — Значит, так: по глотку на человека раз в два часа. Глоток — это глоток. Держать во рту, глотать не сразу.

— Два часа, — сказал Бортников. — А чем ты их мерить будешь, часы-то у тебя есть?

— На глаз. По солнцу.

— Солнца нет.

— По тому, сколько прошли, — сказал Тимофей. — Я тебе скажу когда.

Флягу он открыл и обошёл всех сам — Аглаю, меня, Бортникова, — каждому подавал в руки и стоял рядом, пока пили. Бортников подержал во рту и проглотил, и облизал губы, и сказал, что толку с этого нет никакого.

— Толк через сутки будет, — сказал Тимофей.

Себе он оставил последнее и пил последним, отвернувшись к стене. Пил он дольше, чем я, а потом закрутил крышку, качнул флягу у уха, повесил через плечо, на свою сторону, и прижал рукой.

— Я в силе должен быть, — сказал он в стену. — Меня нести некому.

Я ничего на это не сказал. Фляга была моей заботой: я тут инженер и я вёл людей, и считать её надо было мне, ещё в тоннеле. Считать я умел — швы, скобы, миллиметры. А пятеро на полкружки в сутки — такого мне считать не приходилось: воду у нас во дворе держали в бочке, и при бочке был человек. Пусть будет у него — меньше на мне.

Мы сели у стены под швеллером, хотя тени от него не было: свет шёл ровно, весь разом, как вчера. Аглая отвернула Кулику бинт с краю, посмотрела и замотала обратно.

— Держит, — сказала она. — Не сочтётся.

— Сколько ты в медпункте-то была? — спросил Бортников.

— Три года. — Она обтёрла руки друг о друга. — Медпункт обслуживающего корпуса, я там одна и была на две смены. Отец лекарь, и дед лекарь, у нас в Северославле на окраине своя приёмная. Я думала пойти дальше, а пошла сюда.

— За деньги?

— За приговор, — сказала она и больше ничего не добавила.

Бортников поковырял монтировкой щебень между сапог.

— А я склад охранял, — сказал он. — Второй, у ramпы.

— Ну.

— С него и сел. — Он поковырял ещё. — Недостача вышла, семьдесят одна пара сапог. Я в ту ночь стоял, значит, я и вынес. Так и записали.

— А вынес?

— Я вынес двадцать восемь рублей штрафа и три года, — сказал он и встал.

— Стой, где стоишь, — сказал Тимофей и не встал. — Двор кончится, будет пруд. Технический. Из него воду брали на продувку.

— Так чего ты сидишь.

— Я дышу.

Пруд открылся сразу за компрессорной, ниже уровня двора, и берег у него был выложен плитами под уклон. Плиты просели, и стыки разошлись. С той стороны в воду шла труба на кронштейнах. Трубу обрезало, и из обреза даже не капало. Воды было по третью плиту снизу, а мокрое на плитах стояло на ладонь выше — значит, вода села.

Бортников фанеру опустил, не спросив, и пошёл вниз по плитам.

— Дай флягу, — сказал он.

— Она пустая.

— Так я и говорю — дай.

— Пустая она у меня на счёте, — сказал Тимофей. — Пустая — это запас.

— Ты мне сейчас скажешь, что вода на завтра, а она вот.

— Я тебе скажу, что фляга одна.

Тимофей снял её с плеча и подал, и рукой ещё придержал за ремешок, и только потом отпустил. Бортников пошёл к воде с флягой в опущенной руке, на ходу отвинчивая крышку, и крышка у него провернулась в пальцах, но он её поймал.

Вода стояла тихая и маслянистая. По ней шли пятна, густые, не как от бензина, с переливом от рыжего к зелёному, и перелив шёл кольцами от берега, как ходит масло, когда сливаешь редуктор в поддон. Я такое в цехе видел сто раз. А над пятнами, ладони в полторы от воды, стояло другое — сизое, тонкое, и оно светилось само, ровно, без мерцания.

Я взял его за плечо и дёрнул назад. Дёрнул сильнее, чем хотел, так что он оступился на плите и сел на неё бедром.

— Ты чего.

— Не пей.

— Я и не пью, я набираю.

— Не набирай.

Он поднял на меня лицо, поморгал и ничего не сказал.

Эфирит на Реакторе шёл в бидонах по двадцать литров, с сургучом, и в бидоне стоял тяжёлый, без переливов. За месяц до аварии я писал докладную: на складе номер два, на нижней полке, у двух бидонов подтравливало по шву, и под ними натекло, и натёк был с переливом, вот с таким. Я написал её в двух экземплярах и отнёс в конторку, а через шесть дней мне её вернули с резолюцией через угол: ремонт тары в смету квартала не заложен, наблюдать. Слово «наблюдать» было выведено с нажимом, и хвост у «ь» уходил на мою подпись.

Я стоял и смотрел на этот хвост.

— Юр, — сказал Кулик с фанеры. — Тут вода, что ли? Мне бы губы.

Бортников уже сидел на кромке и опускал руку. Пальцы у него шли к воде плашмя, и до поверхности оставалось с ладонь.

Я взял его за кисть и отвёл. Он рванул руку, но я держал.

— Отпусти.

— Реагент, — сказал я.

— Какой реагент.

— С седьмого. Который в бидонах. — Я отпустил и обтёр ладонь о полу. — В чистом он не светится.

— А тут светится?

— Тут светится.

Он посидел ещё немного, потом отодвинулся от кромки и стал вытирать сухую руку о штанину, долго, всё одно место.

Аглая подошла и присела над водой, не близко, и внимательно посмотрела на пятна.

— Мне на промывание нужна вода, — сказала она. — Не эта.

— Не эта, — сказал я.

Мы обошли пруд по кромке, по плитам, я — впереди, Тимофей — за мной, и он на ходу подёргал кронштейны под трубой и сказал, что два держат, а третий вырван. У левого угла плёнки было меньше, и я подумал уже, что нашли, но там просто сошла осыпь с берега и подняла со дна муть, а в двух шагах плёнка была такая же. С дальней стороны, у обреза трубы, вода была чистая шагов на пять, и над ней тоже стояло сизое, только плотнее.

— Бочки я тут наливал, — сказал Тимофей. — По две бочки за раз, по двести в каждой. Летом чуть не каждый день. Насос стоял вон там, под навесом, а навеса нет.

— Не отсюда наливал.

— Отсюда. Только через фильтр в корпусе.

— Вот и пойдём в корпус, — сказал я. — По синьке в подвале бак. Резервный, на закрытой системе, наружу не сообщается.

— По синьке, — сказал он.

— По синьке.

С плиты он поднялся сам и пошёл вверх, обходя воду шире, чем надо, а на ходу завинтил пустую флягу и отдал её Тимофею.

Тимофей флягу принял, щёлкнул по ней ногтем у горла, потом ниже, у дна, и послушал.

— На глоток, — сказал он. — Каждому по глотку, и всё.

— Значит, по глотку.

— Я не про то, что мало. Раздавать надо сразу, самому. Кто просит, тот и выпьет всё.

Он отвинтил крышку, отлил в неё и подал Прохору первым. Прохор выпил и кивнул — он весь день так кивал — на каждой смене у носилок, когда мы с Бортниковым перехватывались, — молча, коротко.

Дальше шли краем технического квартала. Прохора несли по очереди, менялись через полсотни шагов, и после третьей смены Тимофей пил из фляги последним и держал её у рта дольше, чем мы. Я это увидел, но ничего не сказал. Он обтёр горло ладонью и завинтил флягу.

Правая нога у меня к тому времени не гнулась. Лодыжка вздулась под портянкой, и портянка резала, а разматывать её при всех я не стал: разматываешь — обратно не наматываешь так же. Я старался ставить ногу на всю ступню и шёл ровно, а на битом кирпиче у складов дважды соскользнул и оба раза удержался на арматурине.

Корпус вышел из серого перед самыми сумерками. Крыло со стороны ramпы стояло: крыша держала, шли три окна подряд с целыми переплётами, а дальше стена уходила в осыпь. И у входа, где ramпа, что-то двигалось.

Лёг я на плиты и смотрел, пока не заслезились глаза: двигалось в самом проёме, вглубь и обратно, и не быстро.

— Люди? — сказал Бортников.

— Не знаю.

— Так крикни.

— Нет.

— Мы полдня шли.

— В сумерках не подойдём, — сказал я. — Не видно, что там, так что ждём.

Встали чуть в стороне, за грудой плит, шагах в сорока. Плиты лежали одна на другой козырьком, и под козырьком было сухо, так что Прохора занесли туда первым. Тимофей обошёл грудку, подёргал верхнюю плиту с угла, зачем-то подложил под неё кирпич и сел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.